



РУССКАЯ ЗАБЫТАЯ ЛИТЕРАТУРА

Александр Федоров

# Осенняя паутина

Рассказы

Фонарь

Александр Митрофанович Фёдоров

**Осенняя паутина**  
(Русская забытая литература)

Александр Митрофанович Федоров (1868-1949) — русский прозаик, поэт, драматург. Сборник рассказов «Осенняя паутина». 1917 г.

# Содержание

Старички . . . . .	0005
I . . . . .	0005
II . . . . .	0008
III . . . . .	0013
IV . . . . .	0016
V . . . . .	0018
VI . . . . .	0024
VII . . . . .	0037
VIII . . . . .	0045
IX . . . . .	0046
Брат . . . . .	0052
I . . . . .	0052
II . . . . .	0058
III . . . . .	0079
IV . . . . .	0089
V . . . . .	0093
VI . . . . .	0104
VII . . . . .	0109
Здесь и там . . . . .	0115
I . . . . .	0115
II . . . . .	0121
III . . . . .	0123
IV . . . . .	0126
V . . . . .	0129
Петля . . . . .	0131

I.....	0131
II.....	0148
III.....	0154
IV.....	0162
V.....	0182
Нерв прогресса.....	0199
Натурщица.....	0223
Изобретательность.....	0235
Трус.....	0251
I.....	0251
II.....	0255
III.....	0261
IV.....	0266
V.....	0275
Борьба с чемоданом.....	0287

# Старички

## I

- Капитан!  
— Александр Игнатич.  
— Игнатъич!  
— Александр!  
— Глухой тетерев, тебя зовут!

Так, теряя первоначальную приветливость, энергичный женский голос, не находя отзыва, все громче и настойчивее повторял свой оклик.

А над морем, на обрыве, стоял маленький старичок. Несколько криво расставив подсушенный старостью ноги, подняв локти вровень с плечами, он смотрел в большую подзорную трубу, дрожавшую в его слабых руках, и никак не мог уловить пароход, смутным силуэтом выступавший в прозрачной осенней морской дали.

Он отлично знал, что это Доброволец, то есть пароход Добровольного флота, возвращающийся с Дальнего Востока. Ставшие дальне-

зоркими, маленькие глаза, как бы запутавшиеся в сети морщинок, определили это и без подозрительной трубы, по силуэту судна. Да и расписание паровозного движения подтверждало наблюдение моряка, но все же он нетерпеливо направлял трубу к горизонту и так был поглощён своим занятием, что долетавшие до него оклики жены скользили мимо его ушей.

Он даже насторожился от последнего оклика, но тот не успел дойти до его сознания. Вот уже раз и два и три паровоз мелькнул перед его взглядом, но старческие руки устали и не могли удержать трубу на пойманном предмете.

Как раз в ту самую минуту, когда он уже считал свою цель достигнутой, раздражённая супруга его сошла с террасы, и её энергичная рука легла на плечо капитана.

— Глухой тетерев, тебя зовут!

Подзорная труба едва не выпала из рук старика. Он, вздрогнув, обернулся к жене, но его сухое морщинистое лицо, с седой бородкой и подстриженными усами, не выразило ни малейшей обиды: он знал, что жена допускает с ним такую резкость не по злобе, а един-

ственно по своей женской нервозности и по своему темпераменту, который с годами становится все более несдержан.

Да и сама она мгновенно утихает при виде его добродушного спокойствия и говорит, как бы в своё оправдание, хотя ворчливо, но уже понизив тон:

— Кричу, кричу во все горло, не отзывается.

— А что?

— Федор Кузьмич пришёл.

— Так бы и сказала, — отвечает он на это заявление.

Опередив жену, спешит, позванивая ключиками в кармане, домой, где дожидается его давний приятель и сослуживец, такой же старик, как он.

Вот уже пять лет, как оба старых моряка отставлены от службы из-за предельного возраста.

Обоим далеко за шестьдесят, но они ещё бодры и здоровы и считают, что хотя с ними и поступили по закону, но не по справедливости, так как оба могли отлично и до сих пор продолжать свою службу.

Меньше всего они в этом заинтересованы со стороны корысти: за свою более, чем сорокалетнюю деятельность и капитан, и старший механик успели сколотить порядочные деньжонки; обоим, с избытком хватит до конца их жизни, тем более, что механик остался холостяком, а капитану с капитаншей детей Бог не дал.

Очутившись не у дел на берегу, старый моряк, с своей привычкой командовать пароходом, никак не мог ужиться на наёмной квартире и, наконец, решил построить собственный домик на берегу моря, обставив его соответственно своим привычкам. Тут он едва на старости лет не перессорился с женой, так как мо-



ряк во что бы то ни стало хотел сделать из своего дома подобие корабля не только с внутренней стороны, но и с внешней. Еле-еле жена с архитектором убедили его отказаться от этой блажи. Старому моряку пришлось ограничиться тем, что свою половину он все же превратил в подобие капитанской каюты на пароходе.

В одном из трех отделений было даже нечто вроде штурманской, заваленной картами, а в двух других все было обставлено по-морскому.

Капитан был даже по-детски горд и счастлив, когда по случаю упразднения одного старого корабля ему удалось купить кое-какую корабельную мебель красного дерева и разные мелочи, включительно до ловушек для крыс, которых, впрочем, в новом доме ещё не было.

Что касается корабельных инструментов, барометры, хронометры, секстаны, — все это в полном порядке имелось в его распоряжении.

Капитанский мостик заменяла терраса, так же, как и весь фасад дома, выходящая в

открытое море. На этом мостике он проводил с подзорной трубой большую часть времени, следя за приходящими и уходящими кораблями, зная почти все их и угадывая издали зорким взглядом.

Эти корабли напоминали ему его собственные скитания, тропические берега и теплые моря, полные чудес. Расхаживая по мостику-террасе и воображая себя где-нибудь в океане, старый капитан до такой степени забывался иногда, что, всматриваясь в морскую даль, машинально искал рупор, чтобы отдать рулевому приказание: «На румбе!» — и услышать, как эхо, в ответ бодрое: «Есть на румбе!»

Неподалёку от домика его был маяк, и в туманные ночи и дни доносился рёв маячной сирены, заставлявший тревожно сжиматься сердце и чутко настораживаться, особенно, когда в ответ глухо стонали затерянные в тумане пароходы; тогда его тянуло встать и выйти наружу, точно он боялся, что дом его может налететь в тумане на скалы или столкнуться с другим.

Нечего говорить, что весь распорядок в до-

ме был заведён по-морскому: вставали рано, ели и пили в строго определённые часы, тщательно проверяемые по хронометру. Капитан добился даже того, что стенные часы били во всех комнатах сразу.

Кажется, тут бы следовало примириться и спокойно отдыхать на склоне лет, но привычка к морю заставляла томиться на покое, да и приятно было пороптать на человеческие несправедливость и обиду.

Грустно покачивая головой, капитан неодобрительно замечал:

— Прежде не было такой моды, чтобы какие-то там лета считать. Мы не в женихах собирались оставаться.

— Правда, Александр Игнатьич, — энергично гудел механик. — Все это от моды. Не будь этой моды, служили бы теперь да служили, пока силы есть.

— А нет, — подхватывал капитан, — колесничок к ногам и в воду. Так оно раньше водилось: моряку и смерть в море.

То, что старые моряки подразумевали под модой и что составляло главный предмет их воркотни, было, по их мнению, предпочте-

ние, оказываемое ученым морякам. Предпочтение, из-за которого главным образом они и считали себя обиженными.

Оба они достигли своего высокого положения далеко не сразу и, как любил выражаться механик, достигли горбом. Обоим пришлось ещё плавать на парусных судах, зато и моря, по которым они плавали, и суда, вверенные им, они знали, как свои собственные карманы.

— А нынче окончил курс в морском училище, пожалуйста с паркета на капитанский мостик, или машиной управлять, — осуждал механик, по привычке недовольно выпячивая нижнюю челюсть, которая, однако, двигалась у него уже не столь бойко, как раньше.

### III

**М**еханик, хотя и не имел собственного дома, а снимал у вдовы одного бывшего моряка комнату со столом, тоже не изменял пароходному распорядку жизни: вставал, ел и пил так же, как он, привык это делать десятки лет в море.

Самым важным обстоятельством для Федора Кузьмича являлось его духовное завещание: ничто в мире так не озабочивало его теперь, как именно духовное завещание.

В то время, как у капитана были племянники и племянницы, к которым после смерти его и его жены должен был перейти этот домик и остатки средств, у механика не было ни одного родного живого существа, а так как жил он чрезвычайно экономно, то даже при расчёте жизни ещё лет на двадцать пять, должно было остаться нечто.

Но, как справедливо рассуждал Федор Кузьмич, нынче человек есть, а завтра его нет. Как ни блестящ пароходный механизм, а и он изнашивается, и, наконец, на земле, ещё чаще, чем на море, бывают катастрофы, кото-

рые не щадят никого. Поэтому Федор Кузьмич стал заботиться о духовном завещании с тех самых пор, как у него завелись деньги.

Будучи на море, он завещал сперва свои средства в пользу престарелых моряков, затем перевёл завещание на вдов и сирот их, но, когда очутился на земле, решение это в корень изменилось. Во-первых, разворуют мошенники, во-вторых, о сиротах и вдовах моряков должно позаботиться начальство.

Но главная пружина тут была иная: квартирная хозяйка так его сумела обойти, что он, не говоря ей, однако, ни слова, третий раз переменял своё духовное завещание в её пользу. Главными свидетелями при этом были капитан с капитаншей, тронутые его доводами в пользу не старой ещё вдовы.

Узнав о приходе гостя, капитан только спросил жену, как одет Федор Кузьмич, и имеется ли в наличии орден.

Этот орден, попросту медаль, механик получил в последний год своей службы за то, что ходил с транспортом в японскую войну, и пристёгивал он его только при официальных визитах в большие праздники да во время по-

сещения нотариуса.

Капитанша, осведомлённая о роковом значении этого вопроса, вместо того, чтобы прямо ответить, отозвалась по-женски с нескрываемым пренебрежением:

— Опять все то же. Опять надо вытаскивать тебе твой парад, а он в нафталине.

— Гм! Гм! Ещё ничего неизвестно.

— Чего уж там неизвестно.

— Чего уж там неизвестно. Нынче не Рождество, и ты не именинник, чтобы медаль он стал на себя нацеплять, да и челюсть у него опять заходила: верно, получил огорчение от вдовы.

На последнее капитан не возразил ничего, только сконфуженно позвенел ключиками в кармане и попросил жену проветрить парад.

— На всякий случай!

— Да уж и без тебя знаю. Распорядилась.

Действительно, прислуга как раз выносила на воздух капитанский парад, от которого так несло нафталином, что капитан только носом повёл.

— Честь имею кланяться, Александр Игнатьич.

— Здравствуйте, Федор Кузьмич.

Старики пожали друг другу руки в некотором смущении, взаимно избегая встречаться взглядами при свидетельнице, которая насмешливо на них поглядывала.

Действительно, у Федора Кузьмича и орден был налицо, и нижняя челюсть взволнованно двигалась. Однако, чтобы не сразу выдать себя, он лицемерно ухватился за прочитанное нынче в газетах сообщение.

— Опять беда на море, Александр Игнатьич, читали, небось?

— Это с «Князем»-то. Как же, читал.

— В Красном море ухитрился на риф сесть.

— Да, да, и не говорите.

— Вот тебе и новый капитан!

— Вот тебе и из молодых, модный! В Красном море, где нынче огни, как по Дерibasовской, расставлены, ухитрился около Джедды на риф вылезть.

— А мы и без маяков благополучно хаживаем.



вали.

— Ох, хвастуны! Ох, старые хвастуны! — насмешливо откликнулась на это капитанша. — Вместо того, чтобы посочувствовать беде, только и знай, что злорадствуют да хвастаются.

— Да нет, Ольга Карловна, не то, — гудел кряжистый и заросший сединой механик. — Сочувствовать, как не сочувствовать. Я только говорю Александру Игнатъичу...

— Я уж знаю, слышала сто раз, — добродушно прервала его хозяйка и, глядя прямо в глаза гостю и тем окончательно его смущая, добавила: — Нечего уж, идите, запирайтесь и шушукайтесь. Опять, видно, — и, подражая механику, она насмешливо повторила подслушанное ею обычное вступление при подобных обстоятельствах: — Гм! Гм! Звонок в машину. Динь-Динь! Задний ход! Смотрите только, так-то вот все деньги на нотариуса потратите.

— Удивительнейшая женщина. Проницательнейшая женщина, — косясь на дверь и смущённо двигая челюстью, бормотал механик, когда оба очутились на половине капитана. — Прямо не взгляд, а прожектор. Насквозь пронизывает.

Капитан, как бы недовольный этим одобрением, позвонил в кармане ключиками.

— Так, так, опять у вас авария вышла, Федор Кузьмич?

— Э!..

Механик только сокрущённо рукой махнул, нижняя челюсть задвигалась взад и вперед, и косящий левый глаз от огорчения отправил зрачок к самому носу.

Он молча достал свою трубочку, капитан — свою. Затем каждый из них вынул кисетик с английским табаком мариланом, и они закурили, не говоря некоторое время ни слова, посапывая в тишине трубочками и пуская кольца, струйки и клубы крепкого душистого дыма.

Наконец, механик возобновил свои излия-

ния по поводу капитанши, зная, как они приятны его старому товарищу, почитавшему свою подругу, действительно, за выдающуюся по своим качествам особу.

— Это женщина! Такой женщине не только наследство, но и жизнь можно отдать. За ней, как за брекватером. А тут... Я говорю: стоп машина! А у ней пар за восемьдесят оборотов. Я командую: закрыть заслонки! Куда тут... Пробую нажать гайку, — не отдаётся. Прямо хоть кингстон открывай и на дно.

Капитан отлично понимал эти иносказательные выражения, осведомлённый о тех превратностях жизни и недоразумениях, которые возникали у старого механика с его несколько сварливой хозяйкой.

— Гм! Гм! — покашливая, отозвался он. — Ну, так как же вы? Что же? Опять перемена курса? Руль право на борт?

Механик поднял свои короткие здоровые руки, как бы в знак клятвы.

— Последний раз, Александр Игнатьич. Кончено. Питательные клапаны разобраны, заслонки закрыты. Решено и баста.

— Опять на сирот?

— Э, нет, довольно этого. Я решил, Александр Игнатьич, на мёртвый якорь стать.

Капитан остановил на весу руку с дымящейся трубкой.

— На мёртвый якорь?

Механик остановился перед ним, расставив короткие ноги и уперев руки в бока.

— На мёртвый якорь.

— То есть, как же это на мёртвый якорь, Федор Кузьмич? — переспросил капитан, не понимая, что может означать такое решение в данном вопросе. — А вот так и есть, — подтвердил механик, глядя одним глазом на капитана, а другим косясь в окно.

— Гм! Гм! Как же это так?

— А так. Довольно о людях заботиться. Пора подумать и о...

— Неужели опять о животных?

— Нет, Александр Игнатьич, о себе. О своём будущем.

Механик любил выражаться не только иносказательно, но и таинственно, но капитан, привыкший к его манере, всегда догадывался о сути. На этот раз он решительно недоумевал, о каком будущем идёт речь.

Наконец тот пояснил.

— О будущей жизни, Александр Игнатьич.

Это поразило капитана. Неужели его приятель и тут переменял курс? Неужели он из человека суеверного, но далеко неверующего, как и большинство моряков, решил обратиться к церкви и, может быть, сделать завещание на поминование своей души?

Но механик замахал руками при этом подозрении.

— Что вы, что вы, Александр Игнатьич, за кого вы меня почитаете! Нет, уж если я грешен, тут деньгами не откупишься. Бога этим не возьмёшь.

— Тогда о какой будущей жизни вы говорите, Федор Кузьмич, о каком мёртвом якоре?

— О самом настоящем мёртвом якоре, Александр Игнатьич.

После многозначительной паузы, он, наконец, пояснил свои слова, по обыкновению, с трудом подбирая нужные ему выражения, хотя дело было совсем просто: оказывается, махнув рукою на все живые существа, механик решил воздвигнуть себе склеп по своему вкусу.

— Как, скажем, вы себе воздвигли монрепо для этой жизни, так я себе — для той.

Это ещё больше изумило капитана. Он окончательно забыл о своей трубке, и она потухла.

— Но, позвольте, как же так? Если вы верите в то, что будете жить по смерти, так уж во всяком случае вас в этом... в этом... — ему неприятно было произносить слово склеп, — в этом монрепо не оставят.

Механик хитро повёл косым глазом.

— Кто же вам, извините за выражение, сказал, что я верю в это. В том-то и дело, что я в это не верю, и, стало быть, меня никуда отсюда не попросят. Тут-то, значит, и есть настоящий мёртвый якорь. Никуда!

— Так, так, так, — отозвался капитан.

— Вот то-то и оно, — и механик продолжал с внушительными паузами, во время которых он, вонзая не косивший глаз в лицо своего собеседника, продолжал развивать свои мысли. — Вот в вашем доме будет, так сказать, длить вашу жизнь потомство ваше.

— Ну, какое же моё потомство! — сконфузился капитан. — Всего только племянники.

— Но все же, так сказать, родная кровь. А у меня и этого ни много ни мало, а нет никого. И притом я всю жизнь скитался из одного порта в другой. Опять же теперь, разве я у себя дома? Тот же бездомный бродяга. Ну-с, так хоть по смерти буду у себя. Разве же это не значит — на мёртвом якоре?

Капитан должен был согласиться, что, действительно, такое выражение как нельзя более уместно в данном случае. Однако нельзя сказать, чтобы он вполне одобрял такое решение приятеля.

— Это что же вы, окончательно? — деликатно задал он ему вопрос, надеясь, на основании предыдущих колебаний старого механика, что тот образумится.

— Окончательно и бесповоротно. Я, Александр Игнатьич, видите ли, пришёл к такому заключению, что, кроме зла мои деньги никому ничего не принесут хорошего. И потом дать одним, — обидеть других. Да что говорить, я себе и местечко присмотрел на кладбище с этой целью.

После такого заявления оставалось лишь развести руками.

Принесённое завещание тщательно было предано уничтожению, как и предыдущие, а их было немало, и, действительно, денег на это пошло довольно.

Но теперь оставалось безусловно последнее, в котором он назначал душеприказчиком своего старого приятеля, единственно для поддержания склепа, пока хватит на это оставшихся от предполагаемого сооружения средств.

## VI

С этого дня у обоих моряков появилась новая забота, в которую старый механик постепенно втравил своего друга настолько, что они перестали даже роптать и осуждать модников, а беседовали о могильном сооружении столь же обстоятельно, как беседовали когда-то при оборудовании капитанского домика.

Место было выбрано завидное, довольно далеко от церкви, чтобы не очень докучали похоронной нищенской суетой и шумом, в очень уютном и живописном местечке, где было много зелени, и лежали все весьма при-



личные покойники. Был даже один генерал, на памятнике которого, под урной, красовалась надпись в стихах:

*Он умер в чине генерала  
Восьмидесяти четырех лет.  
Со всеми смерть его сравняла  
И чин и ордена попрала,  
Остался лишь один шкелет.*

Затем было сделано некоторое отступление и нравоучительно, хотя и не совсем ясно, добавлено:

*Ты, проходящий, сие зри:  
Урок при жизни в сём бери.*

Федор Кузьмич заучил эту эпитафию наизусть, и его томило желание иметь над воротами своего посмертного жилища нечто подобное.

Любопытно было знать, собственноручно заготовил себе покойник эти стихи при жизни, или написал их по заказу мастер этого дела.

Федор Кузьмич пытался сначала сам сочинить нечто в этом роде, но, даже при наличности образца для подражания, сочинение

ему плохо удавалось. Кажется, скорее бы он изобрёл перпетуум-мобиле, чем такую штуку.

Выходило нечто очень нескладное и даже несуразное, и, как он ни бился, не мог двинуться дальше следующих строк:

*Он умер в звании механика,  
Да не какого-нибудь, а старшего.*

Тут выросло препятствие в определении лет. Положим, эту строку можно было заполнить по смерти, но дальше, хоть у него и была медаль, которую он торжественно называл орденом, поминать о ней было как-то неловко, а главное, никак не удавалось её уложить в рифмованную строку. Вообще, сколько он ни приискивал рифмы к словам «механика» и «старшего», положительно ничего достойного подыскать не мог. В голову лезли такие слова, от которых приходилось, попросту говоря, отплёвываться:

Так единственная рифма на «механика» навязывалась «голоштанника», а на «старшего» и того не находилось.

Окончательно отчаявшись на этот счет, он поделился своим затруднением с капитаном,

и тот посоветовал ему обратиться к какому-нибудь поэту, хотя бы из тех, что писали в местных газетах.

— Вы ему только внушите, в каком роде, дайте материал, так сказать, а уж он обрабатывает.

— Верно, — согласился Федор Кузьмич. — Я Александр Игнатьич, думаю, и генерал не сам сочинил.

— Наверно, не сам.

— И то надо сказать, всякому своё. Конечно, ежели бы я ещё понатужился, может быть, и подобрал бы рифму, — добавил механик, не желая терять своего достоинства. — Ну, а специалист все же лучше отделает. Как говорит пословица: «И всякий спляшет, да не так, как скоморох».

Эта пословица как будто несколько не отвечала своим характером надгробной эпитафии, но Федор Кузьмич примирился с тем, что закажет стихи мастеру своего дела, чего бы это ни стоило.

Впрочем, это было не к спеху. Сначала надо возвести самое здание, поставить то, на чем будут красоваться эти стихи, и Федор

Кузьмич с капитаном усердно занялись этим важным делом.

Самое трудное было разработать план. Механик, как и капитан при постройке своего монрепо, норовил создать нечто такое, чтобы при одном взгляде на это сооружение, ясно было, кто в нем обитает.

Однако капитану, если бы его супруга позволила осуществить затею вполне, все же легче было это сделать, чем механику. Дом в виде парохода — дело возможное, и ещё возможнее внутреннее соответствующее убранство. Другое — склеп, долженствующий напоминать машинное отделение. Все эти донки, шатуны, золотники, конденсаторы и прочие штуки никоим образом нельзя было привести в соответствие с жилищем смерти. Единственно, чем доступно было намекнуть на это, так лишь трапом, ведущим вниз, дверцей, решёткой и плитами, устилающими пол.

Пришлось примириться с неизбежностью. Механик несколько утешился тем, что у него, как и у капитана, внутреннее убранство до некоторой степени восполняло неодолимые внешние недочёты. Вдобавок на стенах мож-

но поразвесить снимки с машинного отделения парохода, даже чертежи, фотографии давно умерших близких и знакомых, в рамках из раковин, и всякие сувениры, оставшиеся после сорокалетних странствий по далёким морям и океанам, в виде засушенных рыб и прочих редкостей тропических стран: раковин, кораллов.

Он сам ревностно следил за постройкой, ни один камень не был положен без его ведома и даже без совета капитана. Сама по себе смета была весьма солидная, но её приходилось далеко превзойти, ввиду того, что во время постройки приходило в голову то одно дополнение, то другое. Нечего говорить, что материал брался самого лучшего качества и при том самый прочный, так что Федор Кузьмич при таких обстоятельствах мог почти рассчитывать на бессмертие.

От вдовы, разумеется, все это творилось в величайшей тайне. Федор Кузьмич чувствовал себя даже не совсем ловко, когда та, не подозревая подобного коварства со стороны своего жильца и надеясь, рано или поздно, помимо того, что она получала по условию, стори-

цей быть вознаграждённой за свои труды и заботы, продолжала расточать усиленное внимание и растирать ревматические ноги и поясницу своего жильца целебными и, как она уверяла, ей одной известными мазями.

В такие периоды штиля Федору Кузьмичу было не по себе, и он становился экономнее в расходах. Зато едва, как он выражался, «котлы начинали шалить», он давал волю своей изобретательности и не останавливался перед новыми тратами. Ему даже становилось тогда жаль, что сооружение подходит к концу, и создавались новые ухищрения, чтобы оттянуть завершение дела.

Склеп выходил на славу: подобных ему, можно утверждать, было немного на кладбище; были, пожалуй, роскошнее, но прочнее, основательнее, серьёзнее — вряд ли. А главное, видно было, что все сделано с любовью и с той мудрой предусмотрительностью, на которую способен не всякий. На это мало ревниво-зоркого хозяйского глаза и заботы о своих удобствах по смерти, надо было иметь знания и даже дарования Федора Кузьмича в смысле механики и физики.

Он не довольствовался принятой во всех склепах вентиляцией и изобрёл для своего склепа такую вентиляцию, которой мог позавидовать и покоившийся рядом в фамильном склепе генерал.

Капитан даже уговаривал Федора Кузьмича взять патент на это изобретение, но Федор Кузьмич был не тщеславен, ещё менее стяжатель и решил пользоваться своим усовершенствованием один на всем кладбище, может быть, даже во всем мире.

Капитан, увлеченный в конце концов этим делом почти наравне с своим другом, временами начинал даже завидовать ему. Хотя теперь капитану и хорошо в собственном доме, но пробьёт час, когда его выволокут отсюда, и место его займут племянники, которые, конечно, все переделают по-своему, между тем как он будет гнить в грязной яме.

Как ни старался капитан успокоить себя, что не будет ничего этого чувствовать, все же, при виде великолепного посмертного жилища механика, не мог преодолеть зависти.

Супруга капитана, конечно, вполне была осведомлена об этом событии: капитан нико-

гда ничего не мог скрыть от неё, да это было бы и напрасной попыткой при той энергии и проницательности, которыми обладала эта выдающаяся особа.

Но с её стороны вся эта затея не только не вызывала сочувствия, а подвергалась самому жестокому осуждению.

Разбранив прежде всего мужа за потворство, — как она довольно резко выразилась, — дурацкой блажи, она без всякой церемонии обрушилась на механика:

— И вам не стыдно, Федор Кузьмич, потратить такие большие деньги на такую чепуху!

Механик опешил:

— То есть, как на чепуху, Ольга Карловна?

— Да как же не на чепуху! Ну не все ли равно, скажите, на милость, где бы вы по смерти ни лежали. Ведь не думаете же вы, что из мавзолея легче попасть в царство небесное, чем, ну, хотя бы, со дна моря?

— Нет, я этого не думаю, Ольга Карловна. Но все же, ежели мне судьба не судила пойти по смерти на дно моря, то уж я предпочитаю покоиться по своему вкусу.

— Да какой же у вас будет вкус, Федор



Кузьмич, после того, как вы дух испустите? Это уже черви будут ваш вкус разбирать, а не вы сами.

На это Федор Кузьмич с торжеством и гордостью возразил:

— Вот то-то и дело, Ольга Карловна, что черви никак не в состоянии будут проникнуть в моё учреждение. Ни-ни!

Ольга Карловна только головой покачала. Несмотря на кажущуюся суровость и резкость характера, она была женщина чрезвычайно добрая и даже сентиментальная.

— Стыдно, Федор Кузьмич, стыдно. Кругом столько нужды, столько нищеты. Уж ежели вы не знали, кому оставить эти деньги, раздали бы их голодным да холодным. Вон вы в газетах все морские крушения выискиваете и чуть не злорадствуете при этом каждый раз, как будто все эти беды происходят только от того, что вас с моим капитаном от службы отставили.

— Что вы говорите, Ольга Карловна! Как злорадствуем, помилосердствуйте!

— Да уж ладно, знаю. Насквозь вас вижу. А небось, другие крушения мимо глаз и ушей

пропускаете: как люди от голода травятся да вешаются.

— Помилуйте, Ольга Карловна, я-то тут при чем же? Работали бы, а не бездельничали.

— Стыдно вам так говорить.

— А главное, все равно, я своими деньгами всех бы не накормил.

— Стыдно вам так говорить!

— Да и никто ко мне не обращался. Не мне же выискивать, — слабо оправдывался старик.

— Стыдно, стыдно, стыдно! — рубила, не слушая его, капитанша. — Подумали бы тоже и о женщине, которая за вами ухаживает! — И с этими словами она уходила, негодующая и огорчённая.

Подобные отповеди, надо признать, гасили зависть капитана и смущали самого механика. Однако дело было сделано, и теперь поздно было размышлять, хорошо оно, или дурно. Для собственного же спокойствия следовало утвердиться на том, что хорошо, а так как капитан тоже в этом участвовал, он со своей стороны немало содействовал подобному

утверждению.

— Женщина... Что вы хотите! Разве она может проникнуть в глубь вещей?

— Достоянейшая и добрейшая женщина, — убегая косым глазом в противоположную сторону от прямого, говорил механик. — И здесь... — он стучал себя при этом пальцем по лбу, — много. Н-но...

Челюсть его начинала усиленно двигаться.

Капитан шепотом подхватывал недосказанное:

— Женское рассуждение, Федор Кузьмич. Если так рассуждать, тогда и дорогих монументов не следовало бы ставить знаменитым людям.

— Положим, я не знаменитый, — скромно сознавался механик. — Но ведь я никого и не просил мне монумент ставить, я сам себе склеп соорудил.

— И отлично сделали, — горячо шептал капитан, позванивая ключиками в кармане, отчасти от волнения, а главное, с тайной целью заглушить этот ропот. — Если уж действительно не суждено было умереть в море, пусть хоть на земле ногами не топчут.

Когда склеп был вполне готов, а обсаженный деревцами клочок земли вокруг обнесён решёткой и обведён настоящею якорною цепью, решено было это удивительное сооружение освятить и на освящение пригласить Ольгу Карловну.

К удовольствию механика, она от этого предложения не отказалась, и, хотя своего мнения никогда не изменяла, на этот раз между капитаншей и приятелем её мужа состоялось как будто некоторое примирение.

По счастью, ему так и осталось неизвестным, что загадочно молчавшая все время капитанша весьма ядовито выразила своё впечатление:

— Отлично сделано; только, по-моему, лучше уж в этом склепе курятник устроить, чем покойника держать. Все же хоть курам бы тепло жилось.

— Вы не резонны, Ольга Карловна, — дерзнул заметить обиженный за своего друга, да и за себя тоже, капитан.

И он привёл своё веское замечание относительно монументов великим людям.

Но капитанша резко отпарировала этот ар-

гумента.

— Так ведь то награда за пользу или за добро, которое они людям принесли. Пример, как надо жить, а этот всю жизнь прожил для себя да деньги копил, чтобы по смерти на себя их тратить. Какой и кому это пример?

Капитан был сражён этим замечанием настолько, что не нашёлся ответить, да она и не стала дожидаться ответа, а, считая вопрос конченным, по обыкновению, повернулась и ушла хлопотать по хозяйству.

## VII

Оставался, так сказать, последний штрих — эпитафия, и для эпитафии был тоже найден мастер.

Правда, этот мастер был слаб на выпивку и, как выражался о нем по-морскому механик, частенько стаивал на четырех якорях, т.е., попросту, пары ног ему было мало для опоры, но это свойство весьма присуще, надо сознаться, многим истинно-русским талантам. И фамилия его была самая истинно-русская: Подвывалов. Иван Подвывалов.

Затем он заломил с механика большие

деньги за такую, как ему казалось, маленькую штуку, но зато обязался приготовить не одну, а несколько эпитафий, и вообще постараться удовлетворить заказчика.

По условию пришлось уплатить ему часть назначенного гонорара вперёд.

Это бы ещё ничего, но для вдохновения требовалось также и угощение ему. Если бы ещё это требование повторилось раз, два, но оно учащалось с течением времени, а отказать было опасно: у поэта всегда была основательная зацепка для оттягиванья: то он заявлял, что ему надо знать, с философской ли или иной точки зрения отнестись к предмету, то наконец требовалось изучить характер будущего покойника, дабы эпитафия вполне отвечала истине.

Это излишнее, как казалось Федору Кузьмину, усердие начинало его раздражать, и он выразил своё нетерпение мастеру.

Тот, видя бесплодность дальнейших притязаний, поспешил заявить, что предварительная работа окончена, и он может приступить к творчеству. Только просит уплатить остающуюся часть гонорара.

Заказчик отлично видел, что окончательно придётся сказать «прости» и деньгам и стихам, и отказал наотрез.

Тогда поэт, наконец, принёс то, что обещал.

Растрепав пятернёй свои длинные и без того взлохмаченные волосы, Подвывалов стал перед заказчиком в позу и соответствующим случаю загробным голосом прочёл по бумажке:

*Имярек. Родился... тогда-то. Во-  
лею Божию  
скончался... тогда-то.  
В сём склепе погребён механик па-  
роходный.  
Достиг своим трудом он славно-  
го поста,  
Но, за преклонность лет началь-  
ству неугодный,  
На мёртвый якорь стал под сень  
сего креста.*

Тут поэт сделал внушительную паузу и, подняв высоко свою волосатую длань, торжественно закончил:

*Прохожий, да тебе послужит он  
примером:*

*Не будь скупцом, глупцом, хан-  
жой и лицемером.*

Закончив этим призывом свой выразительный стих, поэт так и остался с поднятой рукой и с вопросительно и победоносно устремленным на будущего покойника взглядом ещё не проясневших от вчерашнего угара глаз.

— Ну, что? — обратился он, наконец, к своему заказчику.

Тот казался несколько растерянным и озадаченным. Косивший зрачок его подошёл к самой переносице, в то время, как другой зрачок остановился как раз посреди глаза и выражал нечто весьма неопределённое: не то разочарование, не то недоверие. Однако он не рискнул, пока что, выразить словами ни того ни другого.

— Гм... Да, ну, а ещё?

— Как ещё? Что ещё? — потрясённый этим вопросом, переспросил поэт, и поднятая длань его беспомощно опустилась. Глубочайший вздох вылетел из груди поэта и ещё более наполнил комнату запахом винных паров — Ещё! — повторил он с горьким упре-



ком. — Вы говорите, ещё! — произнёс он с тяжким ударением и даже как бы с некоторой угрозой. — Да разве может быть, позвольте вас спросить, тут что-нибудь ещё? — Он опять сделал внушительную паузу, но прежде, чем механик успел ответить, продолжал полным возмущения и негодования тоном: — Да разве эти сжатые строки не исчерпывают вполне идеи! Разве в них не выражены досконально и философская, и биографическая, и моральная, и сатирическая стороны! Разве, наконец, в музыке их рифм не звучат глухая печаль погребального звона и шорох земли, падающей на крышку гроба! Наконец, разве их классическая простота и, вместе с тем, величие не достойны простоты и величия самой смерти! Укажите мне поэта, у которого слияние мистического с реальным выразилось бы так ярко, так полно, как в этих строках!

Но так как Федор Кузьмич указать такого поэта не мог, поэт продолжал:

— И не укажете, хотя бы вы призвали на помощь всех критиков живых и мёртвых. Это строки, которыми я по праву могу гордиться,

лучше которых я до сих пор ничего не написал. Хотя моему перу принадлежит восемнадцать тысяч двести тридцать восемь строк.

Подавленный и ошеломлённый бурным потоком этого красноречия и пафоса, Федор Кузьмич рискнул заметить только, что он желал бы понести эти стихи на одобрение своего друга. Но автор лишь высокомерно пожал плечами:

— Одобрение друга! Если я говорю вам, что горжусь этими строками, что может значить одобрение вашего пресловутого друга, хотя бы он был сам Брандес! Тэн! — И Подвывалов гордо продекламировал, окончательно убивая всех могущих быть противников:

*Доволен ты собой взыскательный  
художник?*

*Доволен, так пускай толпа тебя  
клеймит*

*И плюёт на алтарь, где твой  
огонь горит...*

— Ваше последнее слово? — оборвав декламацию, обратился он неожиданно прозой к заказчику.

— Видите ли, — сбитый с толку отвечал

тот, — я просил вас помянуть о море и волнах и потом...

Федор Кузьмич хотел намекнуть на медаль, но поэт прервал его:

— И сравнить все это с житейскими волнами? Не так ли? Но это банально, я не могу унизиться до этого. Ещё раз повторяю вам: эти стихи, достойные хрестоматии. О, как бы я желал умереть, умереть тысячу раз, чтобы только на моей надгробной плите блистало что-нибудь подобное!

— Отчего же бы вам и не написать о себе подобное? — заметил, как ему казалось, резонно Федор Кузьмич.

Поэт строго покачал головой, но, снисходя к неведению своего собеседника, ответил:

— Оттого, милостивый государь, что дважды в жизни такие вещи не пишутся.

Федор Кузьмич уже начал было колебаться, хотя в последних строках ему что-то решительно не нравилось.

— Прочтите-ка мне их ещё раз! — обратился он к поэту.

Но тот отрицательно покачал головой и опустил в бессилии на стул. Слишком мно-

го было потрачено энергии на первое выступление, чтобы повторить чтение без риска совершенно потерять силы.

— Ну, так дайте, я сам прочту.

И Федор Кузьмич подошёл и протянул за листком руку.

Но поэт не выпускал листок из рук.

— Гонорар! — заявил он, протягивая свободную руку.

Федор Кузьмич побагровел.

Значит, поэт не хотел читать вторично, потому что боялся, что заказчик постарается zapomнить стишок и не доплатит остального, зачтя угощение, которое во много раз превосходило самую плату.

Федор Кузьмич в ярости швырнул ему то, что был должен, и завопил:

— Давайте заказ и убирайтесь к чёрту!

Подвывалов в гордом молчании, не теряя достоинства, взял деньги, вручил листок и торжественно вышел, надев разбойничью шляпу раньше, чем перешагнул порог.

## VIII

Нельзя сказать, чтобы капитан был также в восторге от этих стихов, но, не желая огорчать своего приятеля, он не высказал вполне искренно ему своего мнения, да и знатоком в такого рода деликатных предметах он себя не считал и не брал на себя смелости произносить решительный суд.

Тайно от своего сослуживца он показал эти стихи супруге.

Та не только не растрогалась и не пленилась ими, но самым неожиданным образом расхохоталась и при этом ещё прибавила:

— Вот это, действительно, подходящие стихи для его дурацкого склепа, особенно две последних строки. Так ему и надо. Как это там написано: «Прохожий, да тебе послужит он примером: не будь скупцом, глупцом, ханжой и лицемером». Вот, вот, в самую цель попал. Молодчина этот, как его... Подвывалов. Молодчина!

И она так и удалилась со смехом, оставив капитана в полном смущении.

Тот позвонил-позвонил в кармане ключи-

ками и решил отговорить приятеля помещать, если не всю эпитафию, то, по крайней мере, две последних строки.

Федор Кузьмич согласился и ответил, что спешить ещё с этим нечего.

— Время терпит.

## IX

**И** действительно время терпело и давало возможность Федору Кузьмичу не только дожидаться новой эпитафии, в которой слова «механика старшего» рифмовались с «награденья монаршего», но и удалось украсить своё монрепо новыми усовершенствованиями в ограждение от сырости и стихий, из-за которых требовался постоянный ремонт. Прилежащий клочок земли украсился также новыми деревцами на место тех, что не пошли.

Хозяин частенько приходил в своё монрепо и один и вместе с капитаном, осматривал каждую веточку, радовался каждому новому листику на деревцах и каждой птичке, которая залетала именно на его территорию, затем отпирал дверцу всегда имевшимся при

нем ключом и тщательнейшим образом проверял всякую мелочь.

Частенько, спускаясь вниз, он представлял себе, как будет здесь лежать. Не потому представлял, что он в действительности ждал смерти. Настоящим образом он никак не мог себе вообразить этого и потому не только не чувствовал настоящего страха, а, наоборот, у него по телу разливалось сладостное ощущение покоя и уюта.

Можно сказать, что вполне дома он, бесприютный бродяга, впервые чувствовал себя лишь только здесь. И, вспоминая все, что в осуждение ему говорила капитанша, лукаво подмигивал сам себе косым глазом и улыбался самодовольной старческой улыбкой.

Но вот однажды механик заметил, что у него с правой стороны челюсти, почти под самым ухом, появилась какая-то опухоль, которая все разрасталась и начинала его беспокоить.

Пробовал он и от этой опухоли избавиться при помощи вдовьей мази, но вдовья мазь на этот раз не помогала.

Капитан, обеспокоенный этой шишкой,

уговорил приятеля обратиться к доктору.

Вернувшись от доктора, Федор Кузьмич с досадой и недоумением заявил:

— Вот подите ж, Александр Игнатьевич, доктор ведь мне велит немедленно ехать в Швейцарию к какому-то знаменитому оператору Кохеру. Тот, говорит, вам эту штуку вырежет и баста. Как вы думаете, ехать или нет.

— Непременно поезжайте, Федор Кузьмич.

Механик не сразу поддался этому уговору. Больше всего ему было жаль покидать монрепо: он знал, что, как бы мало ни пробыл вдали от своего склепа, будет о нем скучать.

Но тут ещё убедительнее вступилась капитанша.

Её отношение к старому механику как-то вдруг переменилось: из неодобрительного и, в лучшем случае, насмешливого это отношение стало заботливым, почти нежным и трогательным. Она также уговаривала его уехать и делала это так умело и весело, что Федор Кузьмич, окончательно размякший от её ласковой заботливости, собрал в свой старый чемоданчик вещи и пустился в дальний путь — в Швейцарию, к искусному оператору в Берн.



Капитан с супругой проводили его и, как водится, помахали ему на дорогу платками.

Но едва поезд скрылся, капитанша стерла этим же платком слезы и глубоко вздохнула.

Капитан, поражённый такой чувствительностью, с недоумением обратил на неё свой взгляд.

— Ну, что, не видишь, что ли, что твой приятель умирать поехал? — брякнула капитанша с обычной резкостью.

— Как умирать! С чего ты взяла? — пролепетал, бледнея, капитан.

— С чего! С чего! А с того, что у него раковая опухоль. Я и сама это сразу заподозрила, а потом справилась у доктора, к которому он ходил.

— Так, может быть, вырежут, и все тут? Ты же сама говорила, что оператор тот чудеса делает.

— Говорила... говорила, а все-таки не смогут же они смерть у человека вырезать, да ещё у такого старика.

Однако, капитан, и поражённый этим известием, все не хотел верить в её мрачное пророчество. Зачем же в таком случае ей бы-

ло настаивать, чтобы Федор Кузьмич ехал и умер там, вдали от своего излюбленного монрепо?

— Затем, чтобы его схоронили там, а монрепо осталось его хозяйке, — вразумительно ответила на это капитанша. — А то она ухаживала за ним, ухаживала, терла-терла его своими мазями, а он — нате-ка! — лишь свои старые штаны ей за это оставил. Ну, нет, и без монрепо обойдётся. А мы продадим это монрепо такому же дураку-любителю, а деньги вдове пойдут.

\* \* \*

Через два месяца после этого капитан получил на свой запрос из Берна от самого профессора извещение, что русский пациент его, Федор Кузьмич Прокофьев, умер от рака прежде, чем ему сделали операцию, и что его похоронили в Берне, так как он не успел дать на этот счет никаких распоряжений.

Вещи же и деньги, за вычетом тех, что потрачены были на его лечение и на похороны, сданы в русское консульство, откуда наследники или душеприказчик покойного могут получить их по первому требованию и по

предъявлении соответствующих документов.

# Брат

## I

Сева недоумевал, почему брат требовал выслать на станцию не шарабан, а коляску. Дорога была весенняя, ещё не вполне установившаяся после обильных снегов, выпавших так неожиданно в марте. А коляска тяжела.

— Видно, гостей из города везёт на Пасху. Ну, что ж, коляску так коляску, — весело решил он вместе с управляющим. — Я и сам поеду встречать его.

Он уже начинал здесь скучать. И собственно, не потому, что давно не видел брата: просто — дом представлялся ему теперь опустелым и печальным.

Не прошло и двух месяцев, как умерла Вера Николаевна, жена Вячеслава, с которой они были очень дружны. И не только дом, но как будто и весь хутор утратил после её смерти свою кроткую, улыбающуюся душу. Дом теперь походил на её рояль: все в нем было цело; но струны, звеневшие по вечерам, молча-

ли, дни в доме чередовались, безжизненные, как клавиши: белые — черные... черные — белые.

Выкатили из сарая коляску, впрягли тройку лошадей; лошади поотвыкли за зиму от упряжи и неохотно становились в оглобли.

Кривой кучер Семён сел на козлы, и тройка, сначала плохо налаживаясь, неровно и недружно пошла знакомой дорогой.

Спешить было некуда. До станции вёрст пятнадцать всего, а выехали больше чем за два часа. Поезд приходит на закате.

Светило солнце. Степь дымилась лёгким душистым паром, и с неба, в котором стояли неподвижно облака, падали песни жаворонков. Золотились озими, и на душе у Севы было легко, как в облаках.

Местами на дорогах ещё не просохли зазоры, лошади хлюпали по воде, обрызгивая морды и недовольно фыркая; колеса вязли и тяжелели от грязи. А то вдруг дорога шла почти окрепшая, посветлевшая от солнца, и жаль было, когда грязные колеса оставляли на ней грубый след и липкие черные комья.

Вдали слышался журчащий клёкот.

— Посмотрите, паныч, — обратил внимание Севы Семён, обернувшись с козёл и указывая вперёд кнутовищем. И в то время как кривой глаз его тускло оловянел, другой дружелюбно подмигивал.

За лошадьми ничего нельзя было разглядеть. Сева поднялся в коляске и увидел аистов. Они собирались в кружок на самой дороге. Посредине круга стоял один из аистов, вероятно, старший и, важно подняв голову, выслушивал остальных.

Сева попросил попридержать лошадей и вылез из коляски, чтобы лучше видеть эту знакомую ему, но всегда удивительно забавную сцену.

Лишь только он ступил на землю, как ему захотелось вдруг прыгнуть, громко запеть, засмеяться, даже просто грудью лечь к земле и поцеловать её. И не сделал этого, потому что не хотел уронить себя в глазах Семена и из боязни смутить аистов.

Они были всего шагах в пятидесяти от него, так что можно было ясно видеть их красные ноги. Занятые своим важным советом, дикие птицы даже не заметили близости

посторонних. Изыщно на своих высоких ногах и, как будто одетые в изысканные фраки, аисты переговаривались между собою, поводили головами и, вообще, проявляли необыкновенную солидность и важность.

— Чистые министры! — со смехом одобрил их Семён. — И умная птица! Помните, как покойная барыня нашла одного такого с перебитым крылом, вылечила его, так он за ней, как жених за невестой, ходил.

Это напоминание на минуту заволокло радостное настроение Севы печалью. Как ей было не отнестись с состраданием к раненой птице! Она сама походила на птицу с переломленным крылом. И он почувствовал глубокую нежность к её памяти.

Несколько в стороне от дороги, на холме, похожем на могилу, белели цветочки подснежника. Сева подошёл к ним. Лёгкие, воздушные, с грациозно закрученными лепестками, первоцветы поражали своей чистотой и трогательной беспомощностью.

Воспоминание о ней так слилось с впечатлением от цветка, что у него выступили на глазах слезы от одного прикосновения цветка

к щеке.

— Милая, милая, — прошептал он, закрыв глаза от беззаветного восторга и тихой печали. На мгновение он забыл о небе, о земле и об аистах, — но в ту же минуту почувствовал, что краснеет от осветившего его сознания: стало неожиданно ясно, что он любил жену своего брата не так, как родную, а в это чувство вливалось другое, о котором он сам не подозревал даже за час перед тем. Из земли, где тлел её прах, она дала ему постичь смысл и особенность его любви к ней. Любовь раскрылась в теплых душистых испарениях, в венчиках безуханных, слабых, но не боящихся заревого холодка цветов, в сиянии неба, которое льётся в самую кровь. И оттого ему хотелось поцеловать землю. Это откровение сначала испугало его самого. Не было ли оно греховным и оскорбительным для её памяти?

Он оглянулся вокруг, спрашивая небо и землю, и весну: так ли?

Все улыбалось ему в ответ весело и ясно, и на душе сразу стало легко, как в облаках.

Курлы... курлы... беседовали аисты, и их го-



лоса мягко и печально журчали в степной тишине.

Теперь они уже не стояли так важно, как раньше, а плавно переступали с ноги на ногу, не нарушая круга, точно танцевали, и средний был дирижёром.

— Трогай, Семён, потихоньку — я рядом пройду, — обратился Сева к кучеру и сделал несколько лёгких движений вперёд, разминая на ходу руки.

— Посмотрю я на вас, паныч, — совсем вы как тая птица. И совсем ну, как надо — человек. Такой длинноногий стали. А всего год назад этакий кныш были.

Севе это признание его «как надо человеком» очень польстило. Он подёргал себя за еле пробивающийся пушок на губе и солидно произнёс:

— Да, *tempora mutantur*[1].

Семён засмеялся.

— Вот же, разве я неправду говорил, что вы, как тая птица. И говорите по-ихнему.

Аисты заметили посторонних, заклекотали тревожнее и оставили свой танец.

Средний аист неторопливо кивнул окру-

жающим, и вся стая, сделав несколько прыжков в одну сторону, распустила крылья и, точно взвешивая ими воздух, поджав ноги и вытянув шеи, плавно полетела вдаль. И красив, строен и важен был полет мирных свободных птиц.

Сева вздохнул, глядя им вслед, как будто жалел, что, действительно, не птица.

— Теперь едем, Семён, — пора.

Сел в коляску и лошади побежали рысцей.

## II

Станция стояла одинокая, каменная, красная, и по обе стороны от неё разбегались рельсы и телеграфные проволоки; им-то и была обязана станция своим существованием. Станция имела два входа, для двух разных миров: внешний для того, который чаще всего лишь на минуту заглядывал сюда, мчась из неведомого далека в противоположную даль с громяющим поездом — и другой — для того мира, который тихо и смиренно жил вокруг на этих бесконечных трудовых полях.

Из глубины их робко шли к станции степные дороги; по ним чаще всего подвозили

хлеб, который глотали железные вагоны.

Иногда к станции подъезжали экипажи, принимая кого-нибудь из того мира, или вводя в него. И в том и в другом случае люди как будто изменялись, проходя из одних дверей в другие.

Коляска подкатила к крыльцу как раз, тогда, когда сигнальный звонок трещал о выходе поезда с соседней станции.

Сева выпрыгнул из коляски и лишь только ступил на обтёртые и грязные каменные ступени, как сразу почувствовал ту знакомую скуку, стеснение и тревогу, которые проникали в него каждый раз, как он приезжал на станцию.

Он получил газеты, Ниву, накладную, нажатвенную машину, выписанную братом из-за границы. Телеграфист Мизгирев, длинный молодой человек, мечтавший поступить на сцену и потому ежедневно бривший лицо и очень редко подстригавши волосы, вышел к Севе, приветствуя его королевскими жестами.

— Привет, о, друг Горацио, привет. Ну, как живёте?

— Благодарю. Как вы?

— Да все разучиваю своего Гамлета. Пойдёмте.

Он обнял Севу за талию и повёл его за водокачку, там стал перед ним в позу и начал декламировать.

Но едва он дошёл до слов:

*О небо! Зверь без разума, без слова  
Грустил бы долее,*

засвистел приближающийся поезд, и Сева заволновался.

Телеграфист с раздражением плюнул в сторону поезда и трагически выкрикнул:

— Вот так всегда!

Но, однако, первый пустился на платформу, чтобы пройтись перед окнами вагонов, за которыми красуются молодые женские лица.

Едва Сева успел дойти до платформы, как поезд уже подошёл к ней, и станция сразу ожила и зашумела.

Сева растерянно стал искать брата глазами. Обыкновенно тот ездил во втором классе, но за одним из стекол вагона первого класса ему показалось знакомое лицо.

«Не может быть», — почему-то подумал он.

Но, однако, изумило его что-то другое, что он скорее почувствовал, чем увидел.

Из вагона прежде всего выпорхнула дама в красной шляпе; она быстро оглянулась направо, налево, улыбаясь привычно-выжидательно, как будто рассчитывала на многолюдную и весёлую встречу, вместе с тем удивляясь всему, что было в действительности. Обернулась назад, и Сева увидел выходящего из вагона брата.

— А, Севка! — преувеличенно громко воскликнул старший брат.

Сева бросился к нему. Но в руках у того были картонки. Отставляя неловко руки и как будто стесняясь чего-то, он поцеловал Севу и тут же поспешил представить его даме в красной шляпке:

— Мой брат — Всеволод.

Та блеснула глазами, сощурилась, потом подняла брови и протянула ему руку, улыбаясь с видом радостного удивления:

— Как это хорошо! Вы так похожи друг на друга, точь-в-точь две капли воды...

Она ещё хотела что-то сказать, но Вячеслав перебил её с неестественной внимательной-

стью, обращаясь к Севе:

— А это баронесса Эмма Федоровна Гиммель-Штерн. Она приехала к нам погостить. Ну, что ты там возишься с вещами! — крикнул он в вагон носильщику, в то время, как тот уже выходил из вагона с несколькими изящными баулами и чемоданом. — Вот тебе ещё квитанция. Возьмёшь багаж.

Но так как у носильщика руки были заняты, он сунул ему квитанцию прямо в рот, и тот схватил её зубами.

Сева подумал, что прежде никогда его брат не сделал бы этого, а если бы и сделал, то в виде шутки.

— Ты, конечно, в коляске — вскользь спросил он Севу. Тот утвердительно кивнул. — Ну, как у вас — все благополучно?

— Да, все благополучно. — уныло ответил Сева.

Брат искоса взглянул на него. Тогда Сева, чтобы не огорчать его, решил побороть в себе эту тягость, так неожиданно откуда-то свалившуюся на него, и ласково взглянул на брата, машинально коснувшись пальцем верхней губы, тем жестом смущения, который

был и у Всеволода. Но тотчас же почувствовал запах духов, которыми, казалось, насквозь была надушена эта женщина в красной шляпе.

Он опустил руку и в ту же минуту ощутил лёгкое головокружение, точно выпил аромат их, и даже ему ясен был вкус духов, приторный без сладости и в то же время горьковатый. Он сразу почувствовал неприязнь к ней и, как ему казалось, больше всего за эти духи, как будто они шли от её существа,

Ловким движением ноги она отбросила путавшиеся юбки, которые даже свистнули от взмаха, затем подхватила их правой рукой, плотно обтягивая широкие бедра, как бы переливавшиеся от отчётливых и лёгких движений её ног в серых мохнатых калошах, и пошла...

Шла она так, точно с гордостью несла в себе что-то, что было от всех скрыто, но составляло её сущность и соблазн для всех.

Несмотря на суету на платформе, на неё все сразу обратили внимание.

Сева при взгляде на телеграфиста Мизгирева, стоявшего невдалеке с разочарован-

но-горделивым выражением в лице, вдруг вспомнил слова, которыми тот оборвал свой монолог.

Эти слова, запавшие в его память без всякого чувства несколько минут тому назад, задели его теперь как-то особенно сложно. Точно зацепились за что-то в памяти, как это иногда бывает с каким-нибудь обрывком стиха, мотива, и теперь неотвязно станут качаться в голове и проситься на язык:

*О, небо! Зверь без разума, без слова  
Грустил бы долее.*

Багажная корзина Эммы, похожая на гроб, оказалась слишком большой для коляски. Но у стационарного буфетчика была лошадь и телега. Ему и поручили корзину для доставки на хутор.

Теперь можно было ехать.

Лишь только Эмма сошла наружу с другого крыльца, с неё, так же, как это было со всеми приезжими, как будто спала часть того, что так важно ей было там, в ином мире. Это было и неуловимо и вместе с тем так ясно. В



движениях, в улыбке, в глазах как будто погасли искорки какого-то напряжённого искусственного света, ненужного здесь, перед строгой наготою и кротким величием земли, полной святого смирения и покоя.

Даже красная шляпа её как будто потускнела и аромат духов её затаил свои настойчивые призывы в этом чистом весеннем воздухе, влажном и сочном на закате, как запах спелого плода.

Кто-то огненно-светлый и невыразимо печальный стоял здесь всюду, куда обращались глаза, в лучах весеннего прозрачного света и благословлял всю землю и все живущее на ней.

Эмма притихла. И, как всегда, когда видишь что-нибудь истинно прекрасное, чистое и великое, ей казалось, что она видела это в детстве; она даже безотчётно вздохнула, но, не привыкшая молчать ни при каких впечатлениях жизни, поспешила выплеснуть то, что ещё не успело отстояться в ней:

— Ах, я очень рада, что вы привезли меня сюда! Здесь так чудно... тихо, и я... Ну, совсем, как будто маленькая девочка во время кон-

фирмации.

И Эмма, пожав плечами, засмеялась, довольная тем, что она сказала: это должно всем понравится. Но она взглянула главным образом на Севу и заметила, что он искоса посмотрел на неё после этих слов, в то время, как перед тем совсем избегал глядеть, чтобы не выдать своего враждебного чувства. Она это чувство отлично угадала и поняла в нем сразу: обязанность угождать всем развила в ней лисью наблюдательность и чутье.

Помимо всего, она не терпела, чтобы кто-нибудь питал к ней иное чувство, кроме желания, или, по крайней мере, внимания к её особе. Она почти заискивающе обратилась к нему, стараясь поднять своим настойчивым взглядом его потупленные глаза.

— Я хочу быть вам товарищ. Но вы такой юный, что я для вас, пожалуй, покажусь старуха.

Подошёл брат, довольный её явным намерением сразу приручить этого зверька.

Чтобы не огорчать его, Сева поспешил ответить, краснея:

— Нет, отчего же... я рад.

— Ну, вот и отлично. По рукам, — выкрикнула она, подмигнув Вячеславу, как бы заранее торжествуя свою победу, и протянула Се- ве руку, быстро содрав с неё перчатку.

Он подал свою, чувствуя в её длительном пожатии теплоту и холеную мягкость кожи, только что освободившейся из плена, аромат духов и даже — следы швов перчатки.

Эмма села рядом со старшим братом, а Се- ва — против них, спиной к лошадям.

Он любил во время езды следить за ло- шадьми и по одному этому уж предпочёл бы сидеть рядом с Семёном на козлах. Но это оби- дело бы брата.

У Семена заоловянел и другой глаз, когда он утвердился на козлах.

Лошади охотно побежали домой по остыв- шей дороге, которая от заката казалась лило- вой, в то время, как вся степь, за исключени- ем озимых, мягко темнела, как фиолетовый бархат с золотисто-зелёными вставками по- лей.

Зато лужи сверкали бледно-зелёными по- лированными зеркалами, отражая высокое водянистое небо. Облака сверху все сползли к

закату, как бы затем, чтобы проводить солнце и погреться около его блекнувшего тепла. Они впитали в себя его пышный цвет и долго после заката удерживали золотые и пурпурные тона, как воспоминание.

Жаворонки, точно притягиваемые землёй, спускались к ней здесь и там, стараясь трепещущими крылышками удержаться за воздух. Но земля тянула все сильнее, и, спеша допеть последние песни, они, наконец, сливались с землёю, замолкая при первом прикосновении к ней.

— Как называются эти птички? — спросила Эмма Севу.

Он был почти оскорблён её незнанием.

— Жаворонки.

— Жаворонки. Ах, да, вспомнила.

— Die Lerche, — перевёл брат.

— Да, да... die Lerche, — подхватила она, делая вид, что вспомнила эту птицу. И основательно добавила: — Из неё у нас делают хороший паштет.

— А у нас грех эту птицу есть, — строго и с сознанием превосходства отозвался с козёл Семён, не оборачиваясь назад.

Вячеслав недовольно повёл на кучера глазами за его фамильярное вступление в беседу, но Эмма заинтересовалась этим сообщением.

— Почему грех?

— Потому что эта птица своим клювом шипы из чела Христова от тернового венца вынимала. Хорошая птица, и урожай предсказывает: много жаворонков когда поналетит, — беспременно Бог урожай пошлёт.

Эмма всплеснула руками.

— Ну, что вы скажете! Я теперь ни за что не стану есть паштет из этих птичек.

Вячеслав рассмеялся.

— Bravo, Эмма Федоровна. Так вы живой на небо попадёте.

— О, я ещё не думаю о небе. А вы? — обратилась она к Севе. — Простите... Вячеслав Викторович зовёт вас...

— Сева, — подсказал Вячеслав.

— Сева. Позвольте и мне так звать вас.

— Конечно, зовите! Чего там, — решил за него старший брат. — Он мальчик ещё.

— А сколько вам лет?

— Шестнадцатый.

— О, шестнадцатый. Это уже не маль-

чик, — молодой человек. И потом, вы такого высокого роста... почти, как ваш брат.

— Да, он не нынче-завтра сравняется со мной. А ведь я чуть ли не на двадцать лет старше его.

Не без достоинства сказал это, зная, что на вид ему едва-едва можно дать тридцать лет. Белокурая, хорошо подстриженная бородка и усы очень молодили его.

Вероятно, и Эмме было около этого. Но она, невидимому, была очень здорова, свежа от природы и не прибегала вне эстрады к косметикам.

Полное лицо её с пышными рыжеватыми волосами не выдавало опухлостей щек и морщинок около глаз и носа. Только губы её казались несколько поблекшими и помятыми. Она, конечно, это знала и потому часто облизывала их и закусывала белыми, неприятно ровными зубами.

Закат тускнел, тускнело небо и воздух и земля, как будто из них кто-то невидимый постепенно выпивал сияние и тепло. Сразу за-свежело, и лошади теперь уже не так мягко ступали по дороге: стук их копыт раздавался

все отчётливее и звончее. И лужицы затягивались тонким совсем белым ледком, который с треском фарфора разбивался под копытами. Холодный, слегка стаявший месяц засиял на холодном небе, и звезды, дрожа, как задуваемые ветром свечи, затеплились так высоко, что месяц как будто и не касался их своим сиянием.

Казалось, что путь будет долог, долог, и также долго будут бежать лошади и светить звезды и пахнуть раскрывающей душу землёй.

Было как-то странно подъехать к дому из свежего мрака этой тихой весенней ночи.

Сеvu охватывало при этом приближении жуткое, почти болезненное чувство. Вот за этим холмом, который кажется при лунном свете большой могилой, поворот к усадьбе и сейчас — конец.

Чему? Он сам себе ещё не отдавал ясного отчёта, но мучительно чувствовал, что наступает конец чему-то блаженно-дорогому для него. Он уже больше никогда не увидит такими, как сейчас, землю и небо, и ночь. Все кончено.

Откуда-то сверху стали падать таинственные трогательные звуки: перекликались журавли.

Все подняли головы, но ничего не было видно, кроме месяца и звёзд, и это сообщало особое очарование ночным голосам диких птиц. Звуки их падали в сумрак и на землю, придавая всем чувствам и мыслям невыразимо сладостный, сказочный подъем.

Сева уже начал было несколько примиряться с ней за её молчание, служившее как бы выражением уважения к этой великой ночи, когда она вдруг, неожиданно спросила:

— А что, тут нет разбойников?

— Разбойников? — удивился старший брат, — по-видимому так же, как и Сева, внутренне оскорблённый этим вопросом и принуждённо рассмеялся. — Слышишь, Сева, Эмма Федоровна боится, как бы её не убили здесь, в нашей степи.

Сева ничего не ответил. Но она по-своему поспешила загладить свою оплошность.

— О, нет. Я не сомневаюсь ни на минуту, что, если бы и напали на нас разбойники, — вы бы защитили меня. Но мой багаж, кото-



рый идёт за нами...

— Не беспокойтесь, и багаж будет в целости, — ответил он, и неестественным голосом, точно ободряя самого себя, воскликнул: — Ну, вот мы и дома.

Было ясно, что он сам чувствует себя не совсем ловко.

Залаяли собаки. Семён протяжно свистнул, — лай сменился радостным визгом.

— Ах, ах! — заволновалась гостья. — Это чудесно. Я не видала ничего подобного.

Она захлопала в ладоши, выражая с явным преувеличением свой восторг и настроение.

Хуторские рабочие в этот час уже спали, но прислуга встретила приезжих с большим оживлением и услужливостью.

Сева поспешил первый выпрыгнуть из коляски и вбежать в дом, чтобы не видеть впечатления, которое произведёт и здесь на всех проезд этой особы: ведь все сразу поймут, кто она и зачем приехала. Было ещё что-то, что заставляло его опередить гостью, но и это было бессознательное: он боялся и вместе желал, чтобы белый нежный призрак встретил его и брата на пороге вместе с нею, и подняв

руку, как светящееся крыло, сказал:

— Нет. Я ещё здесь.

Но они уже всходили по ступенькам под руку. Вячеслав держался как-то особенно прямо и рассеянно отвечал на приветствия прислуги, как бы всецело занятый своей спутницей. Очевидно, сразу желал внушить всем уважение к ней.

Она тоже инстинктивно прониклась его настроением и шла совсем не так, как на платформе — два часа тому назад.

В столовой был приготовлен ужин и хозяин был доволен, что все в порядке.

— И окна выставили. Отлично.

Она созналась, что голодна. Но, прежде чем сесть за стол, выразила желание осмотреть дом.

— Пойдём, Сева, покажем гостье нашу хижину, — снисходительно, но опять с той же опаской произнёс старший брат, и снова подал ей руку.

Со времени смерти жены спальня была заперта. Там и окон не выставляли. Он спал у себя в кабинете. Севу коробило при одной мысли, что брат прикажет отпереть спальню

для неё. Он покуда не сделал этого.

В кабинете она прежде всего обратила внимание на большой портрет Веры Николаевны.

Вера Николаевна была вся в белом, такая прекрасная и чистая, что Эмма как-то потерялась перед ней. Хотя то, что та совсем не показалась ей красивой, удержало её от ревности и злости.

Она сразу догадалась, что это покойная жена Вячеслава, и не могла устоять от искушения сказать хоть несколько слов:

— Это, вероятно, портрет, когда ваша жена была невестой?

У Севы забилося сердце. Да, да, она именно казалась всегда невестой.

Есть женщины, которые всю свою молодость производят такое впечатление, хотя бы были замужем, даже имели детей.

И опять Сева повторить про себя настойчивую фразу:

*О, Боже! Зверь без разума, без слова  
Грустил бы долее.*

— Нет, это через два года после брака, — сухо ответил брат и поспешил увести гостью в её комнату.

Это и в самом деле была комната для гостей, как раз рядом с кабинетом Вячеслава. Туда уже внесли её вещи.

— Окна отсюда выходят в сад. Прямо перед окнами — сирень, и когда она цветет, кисти сирени лезут прямо в комнату.

— О какая прелесть! — воскликнула она. — Но сирень будет цвести не так скоро.

Вячеслав только многозначительно повёл на неё глазами. Она обещающе улыбнулась в ответ, попутно задев своей улыбкой и Севу.

У него упало сердце. Так и есть, она останется здесь надолго. Быть может, навсегда.

— По другую сторону вашей комнаты, — спальня Севы. Как видите, здесь нечего бояться, — снова успокоил её Вячеслав. — Вот разве проберётся к вам когда-нибудь особый разбойник — мышка. Вы не боитесь мышей?

— О, нет, я к ним совсем хладнокровна, — гордо заявила она, насмешив этим оборотом даже Севу, и сама обрадовалась их смеху.

— Если что-нибудь будет нужно вам, по-

звоните вот здесь и явится прислуга, — она у нас в другом флигеле.

— О, мерсі... Тут есть все, что необходимо.

И она стала суетливо перебирать все вещи, дотрагиваясь до них руками, и, не успев осмотреть одну, брала в руки другую, охая и ахая от удивления и восторга при виде всех изящных мелочей, к которым она не привыкла, скитаясь из города в город по номерам средних гостиниц.

— Вы, может быть, хотели бы освежиться, переодеться с дороги? — предложил ей Вячеслав.

— Нет, это уже после ужина. Вот я только вымою руки.

И она тут же протянула руки обоим братьям, чтобы они расстегнули ей манжеты рукавов.

Вячеслав принялся за это тотчас же, а Сева, точно не заметив, отвернулся.

— О, как это странно, что я не слышу за стеной чьих-то шагов, голосов, брани, как всегда в гостинице, и этих звонков, звонков в коридоре.... Игры на рояле. Ах, да! А у вас есть рояль?

— Есть.

— Вот чудесно. А к вам ездят гости? Устраивают вечера, танцы? Нет? Ах да... я забыла...

Она болтала, и вода, журча и всплескивая, падала ей на руки и из чашки умывальника в ведро. И в этих всплесках и переливах воды было что-то общее с её говором, столь же однообразное, утомительное, скучное.

Тем, что она умывалась при них, она сразу установила свою интимность с этим домом, хотя, конечно, делала это неумышленно. И, вытирая свои полные белые руки, глядела то на одного, то на другого брата, фамильярно улыбаясь обоим, как будто давно сжилась с ними и уверена, что они считают её своею.

На Пасху приезжали соседи, но без жён. Значит, уже знали все. Это, видимо, раздражало Вячеслава. Он держался с ними сухо, почти вызывающе. Представляя Эмму, как гостью, он не хотел скрывать своих отношений с нею. Представляя ей гостей, он с особенным ударением называл её баронессой, и все отвечивали ей почтительные поклоны, даже исправник, который не мог не знать, какая она баронесса.

И в этот вечер, за столом, гости не стеснялись пить в её присутствии так, как мужчины пьют только в своей компании; скоро забывали двусмысленную почтительность и явно злоупотребляли её титулом, особенно, когда просили чокнуться с ними.

Вячеславу красноречивыми намёками и взглядами старались выказать одобрение и зависть. То и дело впивались в её пухлые руки жадными всасывающими губами.

Все это оскорбляло Севу, и он мучился и за себя, и за покойную, и за брата, а впереди ждал ещё худшего и ещё более мучительного.

За ужином она держала себя хозяйкой, и это также коробило Севу и мучительно вызывало сравнение с прошлым, когда это место, ещё так недавно, занимала другая, и все при ней было так чисто, так легко. Минутами у него поднималась неутолимая злоба к Эмме. Но он тут же старался убедить себя, что неправ. Она покуда не сделала ничего дурного и, может быть, в самом деле, бескорыстно относится к брату. Но поведение брата, всё с довольной улыбкой принимавшего из её рук, волновало его и снова вызывало раздражение и злобу, но не к брату, а все к ней же, и она становилась ему ненавистнее. Особенно его мучила её манера есть: она как будто ела не только ртом, но и глазами и делала это как-то торопливо и разбросанно, как и все: ткнет вилкой в одно, потом в другое, и тут же забывает о том, чего хотела.

Сева был рад, когда с едой было окончено. Он мог уйти и остаться наедине с собою. Нужно было что-то обдумать, что-то решить бесповоротно.

Но он все медлил уйти, точно для его злобы не хватало ещё нескольких капель и их



надо было впитать в себя. Он продолжал сидеть за столом.

Эмма в этот вечер много пила вина. Вино её возбуждало: лицо побледнело, глаза стали красными; она чаще делала ошибки в разговоре, сама смеялась над ними и то и дело взглядывала на Севу.

Один раз ему показалось, что она дотронулась до его ноги своей ногой под столом, он почувствовал волнующую дрожь от прикосновения и встал. Но, может быть, это только показалось?..

Тогда она, прищурясь, бросила на него взгляд, шумно встала и, неожиданно захватив руку Севы, двинулась в гостиную.

Гости пошли за ней. Теперь она не откажется им сыграть и спеть что-нибудь веселенькое, о чем они все время умоляли её.

Рояль стоял покрытый сероватым чехлом. Вячеслав распорядился снять чехол, и чехол содрали, как кожу. Послышался запах пыли и тонкая дрожь потревоженных струн.

Ещё прежде, чем сесть на стул, Эмма уже ткнула пальцами в клавиши, и рояль вскрикнул, как от боли.

Сева посмотрел на брата.

Тот за ужином пил много вина, и лицо его стало красным. И как всегда, когда он много пил, он становился сосредоточенным и злым. Но Сева объяснил бы себе его настроение по-своему, если бы брат не смотрел на неё такими пристальными, несытыми глазами.

Она заиграла какой-то вальс, потом перешла на другое, опять бросила это и стала играть шансонетку, подпевая немецкие куплеты. Во время её пения гости, не понимая слов, тоже подпевали ей и подмигивали друг другу.

Севе хотелось подойти к ней, ударить её, повалить на землю и бить и царапать это пышное душистое тело до тех пор, пока оно не обольётся кровью.

Он был очень силён. Это было у них в роду. И в эту минуту ощущал в себе почти звериную силу, и это ощущение опьяняло его. Оно каким-то непонятным образом связывалось с её затылком, отягчённым пышными волосами, и особенно с этими раздражающими завитками у неё на шее. Сева впился в эти завитки взглядом. Его кулаки сжимались, а в глазах начинало рябить, когда он почувство-

вал на себе тяжелый вопросительный взгляд брата.

Сева пошёл к выходу. Брат его не останавливал, а нагнулся в это время к Эмме и, криво улыбаясь, что-то шепнул ей. Она кивнула головой.

Сева стоял на крыльце и тяжело дышал.

Лёгкая белая борзая «Пурга» бесшумно подошла к нему и прижалась к ногам упругим сухопарым боком и, вытянув длинную тонкую морду, замерла.

Сева машинально погладил её: она не шевельнулась. Он думал о том, как покойная любила эту собаку, и собака как-то особенно шла к ней. Они вместе всегда Севе напоминали старинную картину, которую он где-то когда-то видел. Может быть, в раннем детстве, когда путешествовал с матерью за границей,

Зачем у него теперь нет никого, к кому бы он мог пойти сейчас и рассказать все, что так томит и мучит... Рассказать все? Нет, всего он бы не мог рассказать и не сумел.

Ночь взглянула на него далёкими чужими глазами, дохнула в лицо влажным сумраком.

Он всем чужой. Был брат, — он как будто

похоронил его. Что теперь делать? Умереть? Убить её? Убежать отсюда?

Послышались шаги: это шел Вячеслав. Сева хотел уйти спрятаться в степь, но собака, как стальная, стояла на пути. Он весь сжался, ушел в себя и стиснул зубы, точно ждал нападения, даже удара.

Брат подошёл почти вплоть к нему, так что слышно было, как он сопел носом, и ясно ощущался запах вина.

— Вот что, Всеволод, — заговорил он, не раскрывая рта, — это ты оставь.

Сева молчал.

Тот перевёл дух и заговорил сдержаннее, даже мягче.

— Ты уже не мальчик... не ребёнок, хотел я сказать. Стало быть, пускаться с тобою в объяснения я не стану. Понимаешь?

Сева хотел кротко возразить брату; напомнить ему о его покойной жене, растрогать его. Он уже мысленно мирился с ним, оба они даже плакали, а Эмму на другой день отправляли обратно. Но слова не шли на язык.

Тогда Всеволод заговорил, все более и более распаляясь от своих же слов:

— Это никого не касается, кроме меня, и, если я привёз её сюда, значит, у меня были причины... основания. Она — артистка! — с неестественным ударением произнёс он. — И я заставлю её уважать. Да, артистка, своим трудом зарабатывающая себе хлеб.

Но тут же он впал в раздражение на себя за то, что унизился до этой фальши перед младшим братом, перед мальчиком, который не вправе судить и осуждать его.

— Наконец, кто бы она ни была, никто не смеет относиться к ней дурно.

Тогда искусственно кроткое состояние покинуло Севу, и он заговорил совсем так же, как брат, но с мальчишеской запальчивостью:

— А я буду относиться к ней так. А я буду, буду. Да, да, да...

Слов у него не хватило. Он почти задыхался от волнения, но, чтобы не дать брату перебить себя, выпалил первое, что пришло ему на ум:

*О, Боже! Зверь без разума, без слова  
Грустил бы долее.*

И вдруг почувствовал, как слезы прилипли к глазам, и сначала где-то глубоко в груди, как птицы, забились рыдания. Он оттолкнул собаку и бросился с крыльца в калитку, откуда в степь.

Тут, не помня ничего, рыдая и колотя себя в грудь, он пустился бежать вперёд, туда, где красный поникший месяц блестел над высоким бугром так близко, что походил на медный щит на груди уснувшего великана.

Сева бежал, спотыкаясь, охватываемый сумраком, который как будто хотел удержать его. Наконец, он стал уставать, задыхаться от бега, и ещё больше — от рыданий.

И тут ему показалось, что кто-то белый, бесшумный следует за ним по пятам. Он боялся оглянуться и только искоса взглянул в сторону и задрожал с головы до ног... Сбоку, действительно, мелькнуло что-то белое. Он вскрикнул и, закрыв лицо руками, почти теряя сознание, повалился на землю.

Очутившись на земле, он почувствовал странную лёгкость, блаженное ощущение бесплотности. «Пурга», все время бежавшая за ним, склонилась над его лицом и, подняв

голову к месяцу, завывала так, что от её воя задрожал мрак и далеко передал этот вой по степи.

Хотелось ничего не видеть, не слышать, не ощущать, даже безбольно, бессознательно умереть. Но при одном прикосновении его груди к земле, вернулись не только силы, но и жажда жизни. Он услышал издали крик:

— Сева, Сева!

Голос был мало похож на голос брата, но это был он.

И опять Севе захотелось, чтобы брат нашёл его бездыханным и раскаялся и образумился наконец.

«Пурга» насторожилась и метнулась с отрывистым призывным лаем в сторону. Но Сева не встал, хотя его желание умереть оставалось где-то вне его. Все его тело слышало быстрые шаги брата и как бы вибрировало от них. Но он только теснее прижимался к земле, как будто хотел войти в неё, слиться с ней.

— Сева! — услышал над собой он голос Вячеслава. — Ну, что с тобой? Вот ещё чепуха, ей-Богу.

Брат совсем склонился над ним, взял его за

плечи и стал трясти.

— Да будет, перестань. Какого черта, в самом деле!

Сева ощутил около уха его прерывистое дыхание и запах вина. Стиснул зубы и впился руками в землю.

Вячеслав захохотал и сел рядом с ним.

— Фу, черт, вот тяжелый! Не ожидал. А ещё так недавно я носил тебя на руках. Помнишь, Севка? Э-эх, брат.

Севе вдруг стало страшно жаль брата, особенно после этого последнего восклицания: столько в нем было бессилия и рабской покорности. Не поднимая головы, Сева скосил на него глаза и увидел большую согнутую фигуру. Он сидел на земле с опущенной головой, обняв высоко поднятые колени. И казалось, что он никогда, никогда не увидит его таким, каким он знал его раньше: весёлым, бодрым, способным пьянеть от работы, бешено скакать с борзыми, ругаться и вместе с тем по-братски жить с мужиками.

Уже после смерти Веры он заметил в нем этот роковой надрыв. Брат замкнулся, часто ездил в город и стал много пить с людьми со-



всем чужими, даже малознакомыми, и один. Должно быть, и эта женщина была для него тем же вином.

И вдруг, Сева услышал, как брат его несколько раз всхлипнул. В нем что-то дрогнуло. Он поднялся и хотел прижаться к нему, но тот заговорил как-то неряшливо, точно во сне. И Севе послышалось несколько раз имя Эммы, которое тот произносил цинично, без уважения к ней. Но все же Сева понял, что возврата к прошлому не будет.

## IV

**В** конце Святой Вячеславу пришлось поехать по делам в город.

Отсутствие его должно было продлиться не более суток-двух.

Эмма сначала было выразила желание поехать вместе.

— Зачем это? — ревниво спросил Вячеслав. — Уже наскучило у нас?

— О, нет. Тут так хорошо.

В самом деле, ей, по-видимому, пришлась по душе жизнь на хуторе. Она охотно подчинялась её распорядку и обычаям: даже три

оставшиеся дня страстной ела постное, несмотря на то, что Вячеслав хотел для неё изменить стол.

Только никак не могла рано ложиться спать и рано вставать, как ни старалась. Ночь, по крайней мере, первая половина её, была неодолима. Как только зажигались огни, Эмма становилась совсем другим человеком, чем днём: возбужденнее, веселее, даже интереснее. Она переходила из комнаты в комнату, брэнчала на рояле, распевала шансонетки, дурачилась с Вячеславом и пыталась втравить в эти дурачества Севу.

Накануне отъезда старшего брата, в сумерках, она затеяла игру в жмурки и принудила играть и Севу.

Завязали глаза Вячеславу, и он сначала снисходительно, а потом с азартом стал ловить их, причем она со смехом дёргала его то с одной, то с другой стороны. А когда он кидался к ней, она, выше икр поднимая юбки, как кошка, отскакивала в сторону Севы и как будто безотчётно жалась к нему всем своим пышным телом, хохоча и изгибаясь, точно её щекотали, поднимала руки, с которых спол-

зали широкие рукава, обнажая их до самых плеч.

Тепло и аромат её прикосновений обдавали Севу жаром, от которого становилось жутко. Он сжимал веки, чтобы не видеть её и прийти в себя, и отвращение к ней боролось в нем с неопределёнными жадными брожениями, поднимавшимися наперекор всему в его крови.

Но вот завязали ей глаза, и она стала гоняться за обоими. Сева отлично видел, что у неё между платком и глазами есть маленькая щелочка, и она притворяется, что не видит.

Она метнулась прямо к Севе. Тот в испуге шарахнулся прочь от неё, тяжело дыша, с бьющимся сердцем. Она опять бросилась за ним. Он снова едва успел ускользнуть от неё. Теперь ей уже, очевидно, даже не нужно было стараться увидеть его. Он не ускользнет; она знала, где он не только по производимому им шуму, но и по чутью, и как будто уже умышленно играла с ним, как кошка с мышью.

И они стали носиться по комнате, наталкиваясь на мебель, останавливаясь на мгновение, чтобы побороть охватывающую их

усталость и странную дрожь.

Глядя на эту гонку, Вячеслав стал громко, безудержно хохотать, довольный тем, что она так ловко приручает его брата.

И Сева чувствовал это, и на этот смех ему хотелось крикнуть брату что-нибудь резкое и оскорбительное и злобно рассмеяться самому.

Но она как бы поняла этот момент. Кралась, кралась назад, и вдруг стремительно бросилась боком в сторону Севы. Он очутился за её спиною, задев её, но в ту же минуту она перевернулась, как вихрь. Он хотел проскользнуть под руками, но она схватила его за плечи.

Он едва не вскрикнул. Хотел вырваться, но она его не отпускала, близко касаясь его груди своей грудью; и в лицо ему ударял запах теплого, разгорячённого женского тела.

— Довольно, — злобно выкрикнул Сева, рванувшись от неё.

Она опустилась на диван, вытянув ноги в золотистых туфлях и закрыв глаза.

Все вокруг обволокло густыми сумерками. Голоса замолкли, и слышно было, как где-то

на кусте первый соловей несмело пробовал свою трель.

— А я в город не поеду, — заговорила она, все ещё не открывая глаз. — Вы поезжайте один. А я не поеду... Тут так хорошо. Я попрошу только купить мне кое-что... Я запишу вам на бумажке.

## V

Сева дурно спал эту ночь. Заснул сразу в непонятном утомлении, но скоро проснулся: часы били одиннадцать. Он что-то видел во сне: не то экзамены, не то смертную казнь. Было томительно и жутко. И наяву это состояние не покидало его. Он скоро понял его причину: была гроза, первая весенняя гроза. Протяжно и сдержанно грохотал гром, как будто кто-то тяжелый пробегал по крыше, а в промежутках, сквозь щели ставней в сумрак комнаты прорывался мгновенными струями свет молнии. Потом пошёл дождь. Сначала на черепичную крышу падали только капли, потом пошёл крупный ровный дождь, и весь дом наполнился шумом, похожим на шум сыпаемого хлеба.

## *Золото, золото падает с неба,*

с улыбкой прошептал Сева. Но улыбка тотчас же пропала. Сразу необыкновенно ярко предстала перед его глазами золотистая туфля Эммы и черные с золотыми стрелками чулки.

Она спала здесь за стеной. Их кровати стояли бок-о-бок. Стена была толстая, но ему все-таки казалось, что и сквозь камень оттуда проникает к нему её дыхание.

Он в мучительном томлении вытягивался в кровати и ясно чувствовал, что в эти минуты растёт и делается зреее. Это непонятно пугало его и вместе с тем наполняло волнующей жаждой, ожиданием чего-то сладкого, но зловещего.

Сквозь гул дождя стал пробиваться новый шорох... голоса... Это за стеной. Сева похолодел и весь превратился в слух. Сердце билось. Трудно было дышать. Нет, это журчание и всплески воды в желобах... шорох дождя в ветках деревьев.

Он подошёл к окну, ступая по полу босыми ногами и с радостью чувствуя ночной холод дерева. Осторожно открыл ставни, окно.

Влажный ночной воздух облил его, как водой. Он съежился, а потом с радостью подставил ему всего себя и стал вдыхать его глубокими глотками, падавшими в грудь, как что-то сочное и живое.

Он стал дышать ещё глубже, ещё настойчивее. Вместе с запахом дождя и земляной сырости пахло ещё чем-то особенно приятным и тонким. Он скоро догадался, что пахло почками, лопнувшими от грома, и в этом было что-то до такой степени прекрасное, что хотелось плакать.

И вдруг, дождь сразу остановился, выглянули звезды, как расцветшие после грозы.

Сева с напряжением стал всматриваться в глубь темноты, как сетями опутанной стволами и ветками. Вера так любила гулять ночью в саду, всегда белая, лёгкая во мраке, как видение, как отблеск лунного света. Её нет и никогда не будет.

Это воспоминание заставило его почувствовать холодную пропасть между нею и собою, и сознание вины своей заволокло душу мутиью.

Он закрыл окно и снова лёг в постель. Под

одеялом его охватил такой холод, как будто ночная сырость налила все тело, и в голове поднялся шум, похожий на шум дождя. Сжался в комок, силясь выдавить из себя этот холод; удалось, стало жарко и как-то, беспомощно, и оттого невыразимо приятно.

«Я, кажется, болен... болен...» — радостно думал он. Стал задрёмывать, и опять перед ним понеслись путанные сны, на этот раз в каких-то радужных переливах и искрах.

Проснулся он поздно, чувствуя лёгкое лихорадочное состояние, но в полном сознании. Дрожащая полоса солнца, как светящаяся паутина, потянулась от щели ставни через комнату, и в ней шевелились и трепетали пушистые оранжевые пылинки, как будто пойманные этой живой паутиной света.

Брат несомненно уже уехал.

Эта мысль напугала его. Как он не догадался уехать вместе с ним! Ведь все равно ему оставаться здесь два дня...

Но разве в этом дело? Разве это изменило бы что-нибудь? Уничтожило бы хоть часть того ужаса, который тяготел над их домом, давил прошлое, грозил будущему! Ему стало так



страшно жаль брата, что хотелось какого-нибудь подвига для его избавления, и в этом лихорадочном состоянии приятно было думать о возможности такого подвига, о жертве, о самопожертвовании и, хотя ничего определённого в этих мыслях не было, но они возбуждали и укрепляли его.

Неприятно было умываться холодной водой, но он все же умылся, оделся и только тогда открыл окно.

День весёлый, как молоденькая девушка, сиял смеющейся свежестью, чистотой и лаской. Земля дымилась паром, свет и тени между деревьев с светившимися от влаги ветками, жались друг к другу, как влюблённые, и две бабочки, трепеща в солнечных лучах, гнались одна за другой, то почти сцепляясь вместе, то разлетаясь в притворном испуге.

Он выставил голову на солнце. Тепло лучей охватило все лицо, и дыхание захватило от острого ощущения полноты и сладости жизни.

Но это ощущение тотчас же померкло. Он провёл рукой по волосам: спереди волосы уже успели нагреться от солнца и были теп-

лы, а с затылка ладонь ясно чувствовала их холодок.

Ему хотелось пить и именно — горячий чай с лимоном. Для этого надо было выйти в столовую. Но он долго не решался переступить порог своей комнаты, останавливался перед дверью, глубоко переводил дух, и все это объяснял своим нездоровьем. Только когда часы пробили девять, он рассердился на себя за эту нерешительность: наверное, Эмма ещё не встала, она встаёт позже. Притом же, конечно, они вчера ночью не скоро расстались.

Сева поёжился и закусил губу.

Он был поражён, когда, войдя в столовую, увидел Эмму. Она там на спиртовке подогрела кофе, одетая на этот раз в голубой капот, и при виде Севы весело улыбнулась ему и закивала головой.

— Я хотела нынче сама напоить вас кофе, — ответила она на его изумлённый взгляд, — и потому так рано проснулась.

— Брат уехал?

— Да, давно... Рано утром, в шесть часов.

— Вы провожали брата?

— Нет. Но я сказала себе проснуться в семь часов, и проснулась в семь часов. Для того я вчера раньше легла спать и так крепко спала, что не слышала грозы.

Она рассмеялась.

— Я так боюсь грозы. Ах, если бы я слышала, что гроза, я бы не спала всю ночь. Вы не боитесь грозы?

— Нет. Я люблю грозу.

Она широко раскрыла глаза и как-то по-детски выпятила губы.

— Э, нет, я люблю, когда небо не сердитое, а весёлое, как сейчас. Я сама весёлая и люблю смеяться. Ну, садитесь, я вам буду наливать кофе.

— Благодарю. Я хочу только чаю.

— Но вы утром всегда пьёте кофе.

— Сегодня мне хочется чаю... Чай ведь есть? Вы не беспокойтесь, я сам себе налью.

— Нет, нет. Я хочу поить вас. Ваш брат сказал мне, чтобы я за вами ухаживала, и я буду ухаживать. Не хотите кофе, я налью чай.

Она потушила спиртовку на мраморном столике и перешла к чайному столу, где стоял самовар, в который солнце как будто выстре-

лило светом, и брызги разбились об его никелированные грани.

— Я не понимаю, зачем брат вас принуждает...

— Принуждает? О, нет, меня никогда нельзя принуждать. Я привыкла делать только то, что мне нравится. Мне нравится здесь жить, я живу. Перестанет нравиться, уеду. Нравится наливать вам чай, наливаю. Перестанет нравиться... Нет, это мне, наверное, не перестанет нравиться, — весело поправилась она и снова рассмеялась. Сева не знал, смеётся ли она над ним или говорит искренно.

Но в это утро она казалась совсем не та, что вчера, и его стала обезоруживать её простота и чистосердечие: в самом деле, может быть, она говорит правду. Может быть, ей скоро надоест жить здесь, и она уедет.

«Нет, все это хитрость, уловка и больше ничего, — пытался он с упорством опровергнуть примирительное чувство. — Ведь она не любит брата. Это видно ясно. Просто опутала его и хочет женить на себе и женить в конце концов».

Ему удалось постепенно вызвать в себе

раздражение к ней, но вместе с этим раздражением и с уверенностью в её нечистых замыслах, в нем поднималось и то волнение, которое он испытал вчера, ощущая её близость. И теперь, когда и без того в голове у него шумело и лихорадочно бился пульс, это волнение отзывалось в нем особенно едко. Принимая из её рук чай, он вздрогнул от одного вида её полуобнажённых рук, таких здоровых, белых и полных.

Вообще, она в это утро вся казалась посвежевшей и как будто вымытой заодно с землёй грозой и ливнем, промчавшимися ночью. Особенно молоды были её волосы, переливавшиеся на солнце, как живая вода.

Он почти физически чувствовал на своём лице, на губах прикосновение её взгляда. Это его стесняло. Он хотел скорее проглотить чай и уйти куда-нибудь, но в то же время сознавал, что не уйдет. Он пил горячий чай и в то время, как внутри чувствовал теплоту, тело его ощущало озноб. Потянуло погреться на солнце. Он поблагодарил Эмму и встал, стараясь больше всего не выказать своего состояния.

— Вы куда?

— Так... На воздух...

— Вот и прекрасно. Я хотела попросить вас поехать со мной верхом.

— Ну, что же, поедем, — равнодушно ответил Сева, едва стоя на ногах от усталости и изнеможения.

На крыльце он остановился, ослеплённый солнечным светом, хлынувшим в лицо, и опустился на ступеньку. Казалось, кто-то с головы окатил его теплом, и оно стекало даже за ворот рубашки живыми греющими струями, от которых холод уходил внутрь и там вызывал неприятную дрожь.

После ночного дождя все светилось: стены, черепицы крыш, даже как будто сама земля, а стекла открытых окон в людской прямо-таки ослепительно сверкали, и оттуда слышались голоса и детский плач. Развешенное около людской белье на верёвках, пронизанное солнечным светом насквозь, в белом — сияло перламутром, в красном пылало огнём. Земля успела просохнуть, и только от людской до барского дома шла влажная дорожка: след только что снятых досок, насланных рано по

утру, чтобы не пачкать полов барского дома. Трещали скворцы, где-то лаяли собаки, ржала лошадь и за домом кудахтали курица, снёсшая яйцо. По двору прошла экономка к погребу, с недовольным злым лицом. Из людской вышел Семён, уже вернувшийся со станции, и направился в конюшню: верно, ему дали распоряжение седлать верховых лошадей.

Сева посмотрел в степь, где был вчера, и ему так захотелось уйти сейчас туда, в эту даль, подёрнутую паром, которым дышала не только земля, но и пушистая озимь, зеленова-то-жёлтая вблизи и синеватая вдали. Отяжелили веки, хотелось спать. Он закрыл глаза.

Послышался запах знакомых духов, и Сева очнулся.

Она сразу заметила необычное выражение его лица.

— Нет. Я только очень хочу спать. Я не спал всю ночь. Мне мешала гроза.

— Так идите спать. Вот дитя! Мы поедем после обеда.

Он послушно отправился в свою комнату, хотя ему именно хотелось уснуть на солнце, здесь, или там, в степи. Войдя к себе, он, как

был одетый, повалился на ещё неубранную постель. Закрылся с головой одеялом, сжался в комочек и стал прислушиваться к этому необыкновенному колющему звону, который разливался по его телу, и тело тяжелело и все погружалось куда-то глубоко, глубоко вниз.

## VI

Что-то светлое, похожее на облако, вошло в его комнату и стало приближаться к кровати.

Ему и прежде во время забытья или сна казалось, что порой отворяется тихо дверь и белое облако появляется на пороге. Но он смыкал ресниц и облако исчезало.

Теперь оно приблизилось. Это была не та. Он узнал — кто это.

— Вы спите, Сева? — услышал он вкрадчивый голос. — Вы спали так много, что я стала беспокоиться.

В комнату через открытое окно проникал голубоватый свет ночи, и Сева, как во сне, видел яркие дрожащие звезды на небе.

— Вы нездоровы?

— Я здоров... Я сейчас...



Он сделал усилие, чтобы подняться на ноги.

— Вы спали, не раздеваясь. Что с вами?

И, прежде чем он успел что-нибудь предпринять, её мягкая нежная рука прижалась к его лбу.

— Да, у вас, кажется, жар.

Испуганными глазами она теперь лицом к лицу смотрела в его глаза сухие и блестяще от заливавшего их внутреннего зноя.

— Зачем же вы не хотели мне сказать раньше. О, Herr Gott im Himmel. Здесь даже нет доктора. Я сейчас напою вас малиной. А теперь разденьтесь и лягте в постель. Я помогу вам.

И она расстегнула его гимназический пояс.

Кровь бросилась ему в лицо, застучала в голове и заволокла глаза. Он схватил её за кисти рук и отвёл их в сторону.

— Нет, нет. Я сам.

— Ну, хорошо, сам... А я сделаю вам горячий глинтвейн. Это всегда помогает.

Он глубоко вздохнул, когда она исчезла. Что делать? Вот сейчас она придёт к нему, к его кровати и станет касаться его своими ру-

ками, которые он не в силах будет оттолкнуть... Убежать отсюда? Выпрыгнуть в окно и убежать в степь?

Но он все же продолжал делать начатое ею. В одну минуту разделся и снова очутился в постели, дрожа мелкой дрожью, в жутком ожидании чего-то страшного, но неизбежного.

Кровать казалась ему зыбкой, как волна. Она покачивала его и, по временам, как будто несла стремительно куда-то вперёд. Ему страстно хотелось забыться, но забытьё не приходило и, вместе с тем, сознание находилось на той границе, когда воля уже почти не повинуется ему.

Губы были сухи. Иногда казалось, что они покрыты извёсткой, и известковая маска захватывает все лицо и даже тонким прозрачным слоем ложится на глаза. Время представлялось совсем не так, как обыкновенно. То казалось, что оно ползёт прямо по телу, тяжелое и медлительное, то одним взмахом пролетает целую вечность.

Запахло чем-то теплым, душистым, необыкновенно приятным, тем, чего именно

просил язык, и губы, и все внутри.

— Вот глинтвейн. А это малина. Хорошо одно и другое. Сначала глинтвейн, а потом малина.

Обхватив одной рукой его шею, она приподняла его на кровати.

Он сел, держа одеяло на плечах, и стал с радостью пить горячий, пахнувший всякими специями глинтвейн. Но скоро вкус его стал ему противен.

— Теперь малину.

Он с отвращением отказался. Но тепло напитка уже проникло в него и разлилось в крови опьяняющей истомой и как будто растворило тяжесть, давившую все тело и особенно голову.

А она говорила:

— Бедный, бедный мальчик. Вы простудились. Вы совсем больной.

Он хотел сказать: «Я совсем здоров теперь», но не сказал этого. Наоборот, притворился совершенно бессильным и покорным.

— Вы будете от глинтвейна потеть. Вам необходимо будет переменить белье: обсушить вам тело.

— Нужно будет позвать экономку, Марфу Никоновну.

— А я? Разве я не могу этого сделать? Тем более, что она спит. Все уже спят. Очень поздно. Мы одни в целом доме.

Последние слова её наполнили его сердце новым смятением и тревогой.

— Вы мне не доверяете. Вы меня совсем не любите.

И она села к нему на кровать и проводила нежной ладонью по его шее, пробуя, нет ли на ней влаги; расстегнула ворот рубахи, и её рука уже касалась его груди...

От этих прикосновений огненные искры, враждебный и вместе с тем непреодолимые, призывно задрожали в его крови. Теперь он уже знал наверное, что все кончено, и не смел и не мог противиться.

Она совсем низко наклонилась своим лицом к его лицу, так что он уже чувствовал её дыхание... губы её покрыли его губы, и какой-то радужный смерч захватил его и закружил в стремительном, буйном движении.

## VII

Прошли часы короткой ночи. Наступил новый день. Серым, ещё неуверенным светом наполнил он сумрак комнаты сквозь щели ставней.

Ещё свеча горела на исходе, но пламя её уже утратило всякий смысл и представлялось холодным и ненужным.

Уже обессиленная исступлёнными ласками, но все ещё неутолённая, она говорила ему:

— Ты меня не любишь... Ты меня не хочешь больше любить...

И обхватывала его объятиями, как птица крыльями.

Зубы его стучали от ужаса, или, может быть, у него снова начиналась лихорадка. Между тем близость её пышного тела, её щекочущие поцелуи опять возбуждали его желания. То приливали, то отливали... И ему хотелось впиться в неё зубами, кусать и царапать её.

Он закрыл глаза, но в ту же минуту снова чувствовал, как её проникающие поцелуи

пылали в нем.

Больше, чем к ней, он начинал чувствовать отвращение к самому себе. Бессильно и безвольно рыдающее раскаяние билось внутри и требовало исхода.

На этот раз он долго противился её желаниям. Она ласкалась к нему, как кошка, и присасывалась к его губам с длительными, впивающимися в кровь поцелуями, возбуждавшими ещё большее ожесточение и упорство, вместе с иссушающей жадностью страсти.

Открывая глаза, он видел нежное пламя свечи и мутный, начинающийся рассвет, укоряющий и безмолвный, кроткий, как та, которую он так низко предал в эту ночь.

Его упорство все более раздражало её.

— Ты меня не любишь... Не хочешь больше любить бессмысленно повторяла она одни и те же слова. — Не хочешь больше любить... больше любить... лю-бить...

Он снова закрыл глаза и упал на жаркую зыбкую волну, в которой терялось все его существо. Жадное ожесточение овладевало им безудержными приливами.

Руки так сильно начали сжимать её, что она вскрикивала, вдавливая головой подушку с напрягшейся шеей, все же нежно белой посреди золотистых волос.

Эта шея возбуждала в нем желание впитаться в неё зубами. Лишь только он её коснулся, она сделала судорожное движение всем телом, но все ещё не понимала настоящего, и боль только сильнее разжигала её страсть.

Он страшно испугался, что она вырвется, и стиснул её ещё сильнее, и шеей своей прижал её шею к подушке.

Она забилась. Подушка от её движения закрыла ей половину лица: подбородок, рот.

Но тут глаза его встретили её глаза, все ещё беззаветно-доверчивые и счастливо-страстные.

Ярость упала. Силы покинули его.

Если бы она испугалась... стала бороться с ним!..

Но этот доверчивый взгляд... Он не мог. Сердце билось, как загнанный в угол мышонок; а она, разметавшаяся, изнеможённая, все ещё тяжело дыша, сквозь застывшую улыбку, еле пропускала слова:

— О, какой ты безумный... Безумный мальчик... Чуть не задушил меня... мой мальчик... мальчик мой...

Держа его руку в своей руке, она дышала все ровнее. Слова путались... ресницы слабо вздрагивали, и только улыбка не сходила с её пересохших губ.

Она заснула.

Он дёрнул свою руку, она не просыпалась.

Обнажённое упругое тело её даже не пошевелилось и казалось скользким, как тело змеи.

Он содрогнулся от ужаса и ненависти к себе.

Он хотел убить её? Но разве он не бесконечно хуже, не презреннее её!

Издалека на него взглянули другие глаза. Он весь сжался, точно хотел спрятаться от них. Потом вдруг выпрямился, ахнул от озарившей его мысли и стал искать глазами по комнате.

Увидел обнажённое тело, и уже без всякой злобы, почти машинально прикрыл её простыней.

После этого на мгновение рассеяно остано-



вился посреди комнаты. Сероватый свет все внимательнее глядел в щели ставень. Прокричал петух, раздирая криком остатки жуткой ночной тишины. Скрипнула калитка и, как выстрел, щелкнул кнут: пастух выгонял скотину.

Он вспомнил и почти радостно взглянул на стену, но не сразу подошёл.

Прислушался к шуму и мычанию выгоняемой скотины, к голосам пробуждавшейся жизни.

Начинался трудовой день, но все казалось ему страшно далёким и прошедшим, как свет звезды, угасшей сотни лет тому назад.

Бездонный провал открылся перед ним, и в него упала целая вечность. Может быть, это было мгновение. Но, казалось, огромная жизнь прожита, и старость, скудная, безнадежная, давит тело и душу.

Сева тщательно оделся. Спокойно и даже как будто деловито вынул из кармана записную книжечку, раскрыл её, достал перочинный ножичек и, тоненько очинив карандаш, четко написал, что так часто приходилось слышать и читать в газетах:

«В смерти моей прошу никого не винить». Затем подумал, муся карандаш, хотел ещё что-то написать, объяснить, но вместо всего добавил только: «Прощай, милый брат. Не жалею обо мне: я не достоин».

Под этими строками аккуратно, полностью подписал своё имя и фамилию.

Затем положил книжечку на видное место раскрытой, подошёл к стене, снял заряженное ружьё, поднял курок, поставил ружьё на пол и, всунув дуло в рот, ударом носка спустил курок.

Вместе с выстрелом раздался страшный женский крик. Полунагое тело поднялось на кровати и с раскрытым ртом, с глазами, налившимися ужасом, глядело на пол.

Запахло порохом и чадом от догоравшей свечи. Уже не серый, а золотистый свет растворял полумрак в комнате, и щели ставней светились рубиновыми полосами.

# Здесь и там

## I

Ольга Ивановна, sage-femme[2], как значится на овальной дощечке у ворот, пользуется уважением и доверием у всех своих пациентов.

Она высока ростом, некрасива, но лицо у неё энергичное, доброе, с усиками на приподнятой верхней губе, которую она слегка кривит во время куренья. Волосы, зачёсанные назад, острижены, и когда Ольга Ивановна надевает белый балахон и берет в руки белую вату, она походит на формировщика-немца, отливающего детские фигурки из гипса.

Нынче Ольга Ивановна, как всегда в волнении, сама с собой разговаривая, вернулась домой крайне расстроенная: богатая, молодая и здоровая роженица, у которой она приняла ребёнка с известнейшим в городе акушером, почувствовала себя не совсем хорошо, и когда измерили температуру, температура оказалась страшно повышенной.

Доктор, осмотрев больную, подозрительно взглянул на свою помощницу. Она уже много лет работала с ним, — тем оскорбительнее был для неё этот взгляд. Неужели он мог подозревать, что она не соблюла во время приёма самым тщательным образом всех правил гигиены? С своей стороны, Ольга Ивановна не могла и его заподозрить ни в чем подобном.

Что касается внешних условий, благоприятнее ничего нельзя было бы создать даже для самой богини. Во-первых, за два месяца до родов заново отремонтировали всю комнату, в которой должно было совершиться это событие. Все, от обоев и кончая последней ленточкой, было так чисто и безукоризненно, что хоть с микроскопом осматривай.

В комнате было лишь то, что безусловно необходимо, и комната была большая, великолепно вентилируемая. Откуда же могла попасть зараза?

Ольга Ивановна была близка к отчаянию. Но, несмотря на крайнюю усталость после напряжённой, продолжительной работы, не хотела и думать об отдыхе, а пошла к дворнику

Никодиму.

Она знала, что у Никодима вот-вот должна рожать жена. Только благодаря беспрерывному дежурству в богатом доме, Ольга Ивановна на время упустила из вида дворникову жену.

Никодима она встретила на пороге дворницкой.

— Ну, что, Никодим? — спросила его Ольга Ивановна. — Как жена?

— Да уж так, — ответил он равнодушно.

— Родила?

— А то нет.

— Когда?

— Почитай, что сейчас.

— А кто же принимал?

— Повитуха.

— И благополучно?

— А то что ж.

— Мальчик?

— Мальчонка. К паре, — серьёзно прибавил он, так как девочка у него уже была.

— Ну, поздравляю тебя, коли так.

Никодим посмотрел в руки акушерки: ничего, кроме акушерского баульчика. Хорошо

поздравление с пустыми руками!

— Я все-таки пойду навещу родильницу, — сказала Ольга Ивановна и по скользким, измызганным ступеням сошла в дворницкую.

Отворив дверь, подбитую войлоком, который повыдергали дворовые щенята, Ольга Ивановна вошла в узкий полутёмный ящик, составлявший дворницкое жильё. Сырой, смрадно-едкий воздух заставил её поморщиться и полезть за папиросой, чтобы заглушить это зловоние. Жена Никодима, Фекла, в помощь мужу поторговывала рыбой на базаре, и рыбный запах въелся здесь не только в каждую тряпку, но и в сырые стены.

Присмотревшись в полумраке. Ольга Ивановна увидела родильницу сидящей на кровати, в рубахе, сверх которой была наброшена на голые, костлявые плечи старая рваная шаль, а под больной подостлана, чтобы не пачкать постели, грязная, обтрёпанная юбка, в которой она обычно торговала.

На коленях дворничихи лежал час назад родившийся младенец. Мать, поворачивая его с боку на бок, бормотала:

— Иван, Николай, Пίδαфор, Никанор...

Акушерка ахнула при взгляде на неё.

— Фекла, да ты с ума сошла, что сидишь!

Но та, кивнув в виде приветствия головой, продолжала:

— Саватей, Федосей, Савелий, Илья, Сафрон, Андрон...

Акушерка подумала, что Фекла бредит, и стала искать бабку.

На сундуке у печки бабка, свернувшись, спала, и только по острому носу, выглядывавшему из-под тряпья, можно было догадаться, что это не узелок с одеждой, а старуха. Рядом с ней спала четырехлетняя дочь Феклы, Грунька.

— Не трожьте её, пусть отдохнёт, — слабо проговорила больная и снова забормотала: — Пахом, Мосей, Сигней, Митрей, Алидор, Миль, Нимподист.

Несколько ободрённая здравомысленным замечанием акушерка спросила её, однако, не без тревоги:

— Что ты такое бормочешь, Фекла?

— Места нету, — недовольная, что её перебивают, ответила дворничиха. — Чтобы место вышло скорее. На какое имя выйдет место, от

того святого, значит, и помощь. На тое имя и крестить. — И она продолжала своим слабым голосом: — Назарий, Гервасий, Протасий, Макар...

Акушерка всплеснула руками.

— Ах, ты, Господи! Что за некультурность. Ну и люди!

И, наскоро продезинфицировав руки, принялась за больную.

Благополучно совершив нужную операцию, Ольга Ивановна строго наказала больной не подниматься с постели и, пообещав прийти завтра, разбудила старуху-бабку:

— Вставай, старая. Ребёнок родился. Выкупай его.

Но старуха только махнула рукой на купанье. Родился, — и слава Богу. И, стукнув об пол костлявыми коленями, она стала креститься в передний угол.



Несмотря на весь уход, богатой больной становилось все хуже, и температура на другой день ещё более повысилась. Ольге Ивановне заплатили щедро, но в её услугах более не нуждались, и это её так огорчило, что она не рада была и плате.

Однако, и тут она не забыла о дворничихе и, как обещала, пошла вечером навестить её.

Но той дома не оказалось.

Не было в этот час и дворника. Лишь с собачонкой на дворе, у сорной ямы, копошилась Грунька. Из помоев и отбросов, которые попадали сюда из господской кухни, девочка выбирала остатки и с аппетитом подъедала, делясь дружески со щенятами и отнимая у них изо рта то, что нравилось ей.

Ольга Ивановна поспешила оттащить девочку от этой: заразы, отчего та подняла рёв. Пришлось дать ей копеечку на конфеты, чтобы утешить.

— А где мать? — спросила она её, почти убежденная, что Феклу свезли в больницу.

— В баню ушла, — прошепелявила девочка.

— Как в баню? Что ты плетёшь!

— Да, в баню усла, — настойчиво повторила девочка. — Со сталухой.

Ольга Ивановна не могла поверить.

«И я тоже хороша... — осудила она себя. — Конечно, ребёнку не станут говорить, что мать увозят в больницу».

Но тут явившийся Никодим подтвердил равнодушно, что Фекла, точно, ушла со старухой в баню.

— Да как же ты отпустил её?

— А чего ж в баню не отпустить? Не в кабак, чай!

Ольга Ивановна глубоко вздохнула и покачала головой:

— Ах, ты, Господи!

Расспросив Никодима, давно ли Фекла ушла в баню, уверенная вполне, что с той что-нибудь приключится там неладное, поехала туда.

### III

По случаю субботы баня была битком набита голыми телами женщин, большею частью безобразными. Нищета и тяжкий труд не любят красоты и калечат члены, вздувают или вытягивают животы, превращают в тряпки груди.

Но зато то прекрасное, что встречалось среди этого уродства, поражало чистотою линий и стройностью, которой не встретишь среди женщин, калечащих себя с детства полным отсутствием движения и мускульной работы, корсетами, модной обувью и т. п.

В облаках пропитанного дешёвым мылом пара, в шуме и плеске воды и нестерпимом гаме голосов сердобольная Ольга Ивановна сначала растерялась и долго не могла ни толком разглядеть что-нибудь, ни даже ступить, куда надо. Там и сям, в толчее, женщины ошпаривали друг друга кипятком и ей грозило тоже самое. Она испуганно сторонилась тех углов, откуда неслись женский визг и брань. Наконец, освоилась и стала усердно искать Феклу и нашла её в парильной.

От удушающего жара тут нестерпимо было дышать, и огонь еле-еле пробивался мутным пятном сквозь завесу пара.

На скамейке сидела и, слабо шевеля руками, мылась Фекла; рядом с ней, на распаренном венике, краснело тельце новорождённого.

— Ты что же это, — набросилась в гневе на Феклу Ольга Ивановна, — уморить и себя, и ребёнка хочешь!

— Зачем уморить, — с трудом шевеля запёкшимися фиолетовыми губами, ответила та, блаженно улыбаясь.

— А что же это ты делаешь, если не можешь, спрашиваю я тебя?

— Парюсь, — в полном изнеможении простонала та.

— Вставай сию минуту, — гневно приказала ей акушерка и взяла на руки ребёнка.

Дотащились кое-как до предбанника. Фекла повалилась на скамью, полудыша, с полужакрытыми глазами.

— Ну, вот, дурно. Так я и знала.

И Ольга Ивановна хотела бежать добыть нашатырного спирта, но Фекла слабо её оста-

Новила.

— Не надо, ничего не надо. Это я проклажаюсь.

Акушерка была вне себя.

— «Проклажаюсь», скажите на милость. Нет, кто это тебя надоумил выкинуть такую глупость?

— По-ви-ту-ха, — кротко ответила Фекла.

— Хороша повитуха, нечего сказать. Что за некультурность. Мало того, что притащила родильницу с ребёнком, — бросила их в парильной.

— Не, зачем бросила, она сама парилась на полке.

Ольга Ивановна решила, пока Фекла отдыхает здесь, пойти и дать бабке хороший нагоняй.

На полке она нашла старуху, напоминавшую мешочек с костями. Распаренный веник прикрывал её жалкую наготу.

— Эй, ты, бабка! — сурово окликнула её Ольга Ивановна

Бабка не шевелилась.

«Неужели ухитрилась здесь уснуть?» — подумала Ольга Ивановна и стала расталкивать

старуху.

Мешочек с костями не сопротивлялся.

— Да с ней обморок, — убежденно решила Ольга Ивановна. И с помощью банщицы поспешила вытащить старуху в предбанник.

Старуха оказалась мёртвой.

## IV

Умерла и роженица в богатом доме.

Молодую, цветущую женщину не могли спасти ни лучшие доктора, ни чрезвычайный уход. Умерла она от заражения крови, которое оказалось непостижимым и роковым.

Кроме этого младенца, умершая оставила на руках отца ещё пятилетнего мальчугана-первенца.

К новорождённому взяли кормилицу, самую здоровую, молодую и красивую из всех, которых можно было купить за деньги.

Но в городе началась эпидемия скарлатины, и кормилица, навешавшая своего ребёнка, отданного в чужие руки, перенесла болезнь на братишку своего питомца.

И опять явились искуснейшие и самые дорогие врачи. Но они не спасли заболевшего.

Не избежала в это время эпидемии и дочь дворника Грунька. Но родители и не подумали изолировать другого ребёнка и приглашать врача:

— Никто, как Бог.

Ольга Ивановна, бывшая долгое время на практике в отъезде, явилась, когда Грунька была уже при смерти.

Когда она вошла в дворницкую, девочка лежала под образами, а над ней читал отходную пономарь из соседней церкви, пьяница жестокий, готовый за бутылку водки читать над покойником всю ночь.

Фекла, сидя на сундуке, что-то быстро шила из розовато коленкора, и на пошивку её падали слезы.

Никодим, по обыкновению, сидел мрачный и молчаливый, с маленьким на руках.

— Ах, Никодим, Никодим, — укоризненно обратилась к нему Ольга Ивановна. — Что же ты доктора не позвал?

— Бог лучше доктора знает, что надо, — отвечал убежденно Никодим.

— И это напрасно, — указала Ольга Ивановна на пономаря.

— А что же, по па брать для такой? — объяснил дворник по-своему этот выговор. — Не глупей мы людей. Знаем, что до семи лет дети ещё ангелы, после семи до двенадцати — аггелы, а уж потом — отроки. Отрокам не иначе, как по па.

— Да я не о том, — вразумляла его акушерка. — Девочка ещё не умирает, а тут отходная.

— Как не умирает! — сквозь слезы отозвалась Фекла. — Как же ещё умирают-то! Нет уж, я ей и саван шью.

И слезы полились из глаз Феклы, иголка выпала, и, опустив на ладони рук голову, она безутешно заплакала, приговаривая:

— Доченька моя! Доченька родная! Родненькая!



Ольга Ивановна, однако, пригласила к Груньке врача, того самого, который лечил богатых детей. Самой же ей пришлось снова уехать через день на долгую практику в имение к своей клиентке.

Однако, оттуда она написала, дворнику письмо с просьбой ответить, что случилось с Грунькой.

Дворник ничего не ответил, и Ольга Ивановна решила, что девочка умерла.

Каково же было её удивление, когда в первый же день по приезде домой она увидела Груньку живой и здоровой.

Девочка важно ходила по дворницкой бо-сиком, но в длинном, розовом коленкоровом платье, с розовой атласной лентой на талии, и, как большая, через плечо все поглядывала на тянущийся подол.

— Грунька? — радостно воскликнула Ольга Ивановна. — Ты выздоровела?

— А то что ж, — по-отцовски серьёзно ответила она.

— Молодец. Кто же это тебе такое платье

подарил? — уже совсем весело продолжала Ольга Ивановна, забыв, как мать шила, обливаясь слезами, этот розовый коленкор.

Грунька с гордостью ответила:

— Я помилала. Мама мне посылала, — она снова оглянулась на тянущийся подол и добавила: — теперь я хозу.

Мать кормила тощей грудью на диво здорового младенца и, с притворно суровым лицом, обратилась к девочке:

— Ну, ну, скидывай обновку, я спрячу в сундук. А то задрипаешь подол, — на Пасху надеть нечего будет.

# Петля

## I

Он не особенно спешил на свидание, хотя отлично знал, что она была уже там и ждала. Даже, с усмешкой, подумал: пусть пождёт, ничего. И зашёл во фруктовую лавку.

Седой хозяин-турок медленно отвёл глаза с густыми черными ресницами от старой книги и лениво поднялся со скамьи.

Удивительный запах плодов, в которых идёт усиленное брожение после того, как они сорваны, тесно, но не душно обступал со всех сторон. Он даже как-то особенно освежал после серовато-темного, въедчивого воздуха; ощутительно касался щек, глаз, губ и, вместе с дыханием, приникал в кровь, которая также заражалась этим опьяняющим брожением, роднясь с соками спелых плодов. Руки с удовольствием касались упругих, весёлых яблок, нежных груш, сочных оранжевых апельсинов и гладких, длинных бананов, которые она так любила.

Он почувствовал знакомое томление во всем теле, вспоминая, как она забавляется этими плодами в то время, как её зеленова-то-серые глаза глядят на него, переливаясь искрами внутреннего смеха и желания; она даже ласкает их, прежде чем осторожно сдерёт мягкую кожу банана и съест обнажённый плод.

Он вышел в несколько возбуждённом и обновлённом настроении и, уже снаружи, ему ещё раз приятно было увидеть, как турок в своём наполненном фруктами подвале опять опустил ресницы на исчерченные каракульками листы.

Ящички фруктов, освещённых большим фонарем, провожали его своим ароматным дыханием, знойной негой тропиков, откуда были привезены многие из них и куда так вдруг потянуло его. Стало и молодо, и грустно, и свободно, и легко; так свободно и легко, что, кажется, вот столкнулся бы от земли и полетел!

Южный февральский вечер показался ему совсем иным, чем перед этим посещением: влажный, несколько туманный воздух ощу-

тительно приникал к щекам, раздражая кожу своею свежестью. Прямо пред глазами, над железными крышами каменных домов, в мгlistом воздухе, золотившемся от городских огней, чуть-чуть просвечивал молодой месяц, и именно от него шло очарование преждевременной, обманчивой весны.

Позванивали конки. Большой портовый город весь был полон огнями и особенным, свойственным ему торговым шумом. Но уже этот шум был не похож на шум дня: в его переливах слышалась тоска приморской ночи; он напоминал сдержанный гул моря, и стояла за ним та распахнувшаяся весенняя тишина, которая даже и днём глубоко чувствуется за всеми голосами пробуждённой жизни.

Слегка воспаленно светились фонари и влажно падал свет из магазинных окон; в отдалении предметы мешались с тенями, и тени как будто не касались земли и камней, а дрожали над ними в воздухе.

Около магазина шляп он приостановился: за зеркальным окном солидно и глупо красовались цилиндры, котелки и меховые шапки. Он весело усмехнулся и неожиданно для са-

мого себя отвесил им поклон.

Проходившая дама заметила его мальчишескую выходку. Он, смутившись, отошёл, обернулся; она обернулась также; оба рассмеялись и неестественно торопливо пошли в разные стороны.

— Наверно, приняла меня за сумасшедшего, — с удовольствием подумал он и около часового магазина завернул за угол.

У своих ворот увидел извозчика и почему-то решил, что на извозчике приехала она.

Поднимаясь по лестнице, он уже ощущал некоторое нетерпение. Сейчас, прежде чем он вставит ключ в замок, раздастся мягкое топанье босых ног и, взвизгнув от радости, она, уже совсем раздетая, юркнет с головой под одеяло, чтобы потом сразу обхватить его шею обнажёнными руками и прижаться к нему всем телом, от которого также пахнет сорванными плодами.

Она нарочно приходила всегда раньше, чтобы встречать его таким образом, зная, что это ему нравится.

Он у двери, — её не слышно: хочет показать, что рассердилась за опоздание. Он не

сразу вставил ключ и отворил дверь в свою мастерскую.

Комната была наполнена серым сумраком, Падающим сквозь стеклянный потолок и большое окно. Широкий диван стоял прямо против двери, но на нем её не было и даже смутно поблёскивал оттуда уголок неубранной золочёной рамы.

Это было так непривычно и дохнуло пустотой. И все же, она была здесь: ясно ощущался тот смешанный аромат парфюмерии, который она приносила с собой из магазина.

И тут же он увидел её слева, около стола; точно не замечая его прихода, она сидела совсем одетая, опустив голову на руки. Даже круглая котиковая шапочка оставалась на ней.

У него слегка захолонуло сердце, скорее от предчувствия, чем от какого-нибудь опасения.

Уснула? Может быть, плачет? Просто дурачится.

Она шевельнулась, подняла голову. Сейчас разразится своим громким грудным смехом и повиснет у него на шее. Он уже протянул к

ней руки, но она не двинулась. Он пожал плечами; стало как-то не по себе без огня, — зажёг свечу. Но и при свече ночные тени не ушли, а трепетно притаились по углам и впадинам и около холодной чугунной печи с уродливой черной трубой через всю комнату.

Взгляд его прежде всего остановился на её глазах; они были влажно-мутны и рука её комкала белый платок с голубой каёмкой.

— Что с тобой? Ты плакала? — обратился он к ней, уже встревоженный. — Я запоздал потому, что покупал фрукты. Вот.

Он взял бумажный мешок, но из глаз у неё хлынули слезы и плечи затряслись от рыданий.

— Ах, ах, мне так тяжело! Но ты не должен думать обо мне дурно. Я больше не могу... Ну, просто, не могу, — все слабым тоном, без крика и без боли, а скорее, как заранее приготовленное, произносила она слова, но не опускала лица, не отводила плачущих глаз от его глаз, как будто не могла отказать себе — и сквозь слезы следить за впечатлением.

Он нетерпеливо перебил её:

— Да что же такое, наконец?



Тогда у неё сорвались совсем нескладные слова, не столько испугавшие, сколько ошеломившие его:

— Мы должны расстаться. Да, да. Это так надо. Я давно плачу. Я даже на лестнице плакала, когда шла к тебе.

Слезы всегда придавали её лицу что-то детское, но теперь этому мешали глаза, продолжавшие следить за ним.

Он раскрыл рот от изумления и, ничего не думая в первую минуту, как-то машинально отозвался:

— А, вот что! Вот что! — повторял он в то время, как его сердце упало куда-то и потом напряжённо застучало где-то по середине горла.

Впиваясь в её лицо острым взглядом, он старался схватить и постичь сразу все. Он догадывался, но это было ещё непонятнее, ещё мучительнее. В темном провале чего-то, живого за минуту перед этим, даже блеснула слабая искорка: может быть, это и к лучшему, но уязвленное сердце не допускало такого поражения.

Прежде, чем он успел сказать ещё что-ни-

будь, она сама, как бы пугаясь своих слов, пугаясь того, что должно было за ними последовать, — может быть, упреков, брани, даже ударов, — поспешила сказать все, к чему ранее хотела приготовить его:

— Я выхожу замуж.

— Замуж?

Он двинулся к ней, но тут же, увидев её выжидательное, испуганное лицо и глаза с высохшими как-то сразу слезами, остановился, чувствуя холод по всему телу и тупую тяжесть в груди, от которой трудно было дышать.

Оба молчали и в упор глядели друг на друга взаимно чужими глазами.

Ему хотелось сделать презрительную гримасу, развести руками и, с едким хохотом поздравив её, повернуться и выйти вон, не сказав больше ни слова. Но это было бы слишком по-мальчишески и отвратительно театрально. Сбивало с толку и её испуганное выражение, за которым чувствовалось что-то загадочное и вместе с тем решительное. Презрение, смех и все прочее было бы, пожалуй, сносно, если бы она бросилась вслед за ним с

криками раскаяния, с мольбой.

Вместо всего этого, с мгновенно пересохшим горлом и ртом, он сердито крикнул, стараясь показать, что не принимает её слов всерьёз:

— Что за кукольная комедия!

— Кукольная комедия?

Это её оскорбило. Она уже почти злобно повторяла: «Кукольная комедия! Нет уже довольно быть куклой!»

Ей понравилось, видно, это слово — кукла.

— Но как же это? Всего три дня тому назад...

— Ну, да, три дня тому назад я была с тобой. Я говорила, что люблю тебя одного. Это верно, и верно то, что я тогда же была уже готова порвать с тобой. Все это верно... Все это верно. Ты знал, что я устала... ты знал... Да разве все это скажешь... разве скажешь...

Лицо её покрылось пятнами, и грудь и плечи вздымались от порывистого дыхания.

На одно мгновение он почувствовал, как она близка ему, и понял её, и представил все снова возможным. До такой степени возможным, что сам поверил в мгновенно вспыхнув-

шую фантазию.

— Так, так. Мне не надо говорить, кто он. Это большая честь для тебя! Большая честь — приказнице выйти замуж за своего хозяина! Теперь уж ты не будешь жаловаться на то, что задыхаешься от этой парфюмерии.

И, выдержав едкую паузу, он, вдруг, быстро вплотную подошёл к ней и, наклонившись к её лицу, размеренно, почти торжественно заявил:

— А знаешь ли ты, когда я шел сюда, я решил, что мы будем вместе, что мы уедем отсюда. Да, я решил это!

Он увидел её поднявшееся ошеломлённое лицо, глаза, в которых недоверие путалось со страхом, и угадал, что у неё замерло дыхание.

— Почему бы и нет?

Внезапный прилив сожаления и нежной, трогательной печали в его голосе заставил задрожать её ресницы.

— Разве я не любил тебя? Не верил в твою любовь? Разве мало было красоты в наших отношениях?

Слезы полились у ней из глаз.

Они придали ему уверенность и торже-

СТВО.

Он шагнул в сторону и, подняв руки, громко, злорадно воскликнул:

— Благословен Господь Бог мой, что он остановил меня вовремя! Нечего сказать, дорогой ценой я купил бы то, чему оказалось грош цена!

И, видя, что она опять перестала плакать и с пылающим лицом поднялась со стула, он снова, совершенно искренно заговорил, как будто про себя мягко и кротко:

— Я думал: продам картины, уедем за границу, где никто не знает...

Он не досказал своего намёка, заметив её резкое движение:

— В салоне так хорошо приняли мои картины! Я знаю, что добьюсь своего! И ты была бы со мною... И какая бы это была прекрасная жизнь!

Она крикнула сквозь слезы, снова хлынувшие:

— Неправда, ты ничего этого не думал!

Но он уже был безусловно уверен, что это так, и твердо поклялся:

— Это было так, клянусь тебе!

Она сразу опустилась, а он тихо и горько сказал:

— Но теперь поздно.

— Да, поздно, — сквозь всхлипывание повторила она и поднялась, с опущенной головой, тербя руками платок.

Это слово хлестнуло его. Поздно! Значит, она его обманывала. Он не сдержался, чтобы не высказать ей этого.

Она с внезапно загоревшейся яростью взглянула на него и вытерла глаза.

— Обманывала! Ты что же платил мне за любовь, чтобы я тебя обманывала?

— А ты бы хотела, чтобы я тебе платил?

— Я не то хочу сказать...

— Ты бы хотела, чтобы я тебе платил, как тот?..

— Дай же мне сказать!

— А теперь, разве не из-за денег ты за него выходишь? Ну, скажи, что нет? Говори, говори, отвечай!

Он стоял перед ней и потрясал кулаками, не выпуская из рук мешка с фруктами.

Яростное негодование и презрение искажавшее его лицо, возбуждали в ней ненависть.

висть, но все же ей не хотелось уйти, оставив по себе оскорбительное воспоминание.

— Неправда. Я выхожу замуж не из-за этого. Не из-за этого. Я его не обманула. Я ему сказала все. Сказала о тебе!

Он злобно и дико расхохотался.

— Сказала все! Воображаю, как ты ему это рассказала! Так же, как рассказывала мне... что тот мой предшественник даже плеча твоего не видел.

Он хохотал, а она стояла, вся наполненная бешенством, так побледневшая, что над губой особенно резко выделился темноватый пушок. Она придумывала мстительное оскорбление, чтобы бросить его в лицо ему прежде, чем уйти. Но ничего не находила.

Он сразу оборвал смех и уж не мог теперь устоять, чтобы не разыграть напрашивавшейся раньше сцены буквально так, как вообразил.

— Ну, что ж, честь имею поздравить вас.

Была и искусственно презрительная гримаса и жест. Может быть, даже удался бы саркастический смех, но тут случилось совсем непредвиденное обстоятельство: когда он

тряхнул правой рукой с мешком, полным фрукт, бумага разорвалась и бананы, груши и яблоки выскочили оттуда и покатались по полу.

Он растерялся и едва не бросился собирать их.

Но она как будто не заметила этого. Сжав веки, чтобы стереть последний след слез, движением плеч расправляя свою кофточку, она пошла мимо него к двери, с неестественно поднятой головой, высокая и ещё более красивая, чем всегда.

Неужели уйдет? Эта мысль придавила его, как упавший потолок. Может быть, она даже довольна, что все так легко разрешается. Сердце его забило такую тревогу, что стало жутко. Уйдет! Уже не оглядываясь, берётся за ручку двери. Одно движение, — дверь захлопнется, и она унесет с собой непонятную, уродливую обиду.

Как холодно светит свеча! Как потускнели стены мастерской! Он ещё видит её несколько крупный, прекрасный профиль и тяжелый узел волос.

Мучительно захотелось её удержать.



Дверная ручка стукнула. Он вздрогнул. Уйдет. Сейчас уйдет! Он, все ещё не веря себе, тяжело дыша, ждал, когда она сделает последнее движение через порог этой комнаты, где больше года отдавалась ему с весёлой страстью.

В нем закипело негодование, как будто она действительно, самым наглым образом обманула его. Захотелось снова подчинить, даже унижить её. Заставить молить его любви и ласк.

Что-то внутри говорило, что это невозможно, что все кончено, что он только уронит себя в её глазах всеми дальнейшими объяснениями, но нестерпимое любопытство, вместе с мстительным чувством побуждали удерживать её.

Он бросился к ней и остановил её уже на самом пороге.

— Та!

Этим именем он звал её в минуты нежности. Наташа, Ната, Та. Но сейчас оно прозвучало фальшиво, почти жалко для него. И это было ясно ей: она хотя и остановилась, но не оглянулась на него, а выжидательно стояла с

упрямо опущенной головой.

Ему хотелось сказать что-то хорошее, доброе, раскаяться в своей грубости. Но, увидев эти стиснутые губы и нахмуренные глаза, он подавил дрожь голоса:

— У тебя нечего больше мне сказать?

Она в удивлении повела на него глазами, круто повернулась. Щёлкнула ручка двери... Отворилась, захлопнулась, и слышно было, как по каменным ступеням глухо застучали её шаги.

Она спешила уйти. Она сбегала по лестнице, и этот удаляющийся стук наполнял холодным гулом пустоту каменного пролёта.

Он не двинулся с места и как бы окаменел в той самой позе, с той неестественной улыбкой, которой сопровождал последние слова свои. Пламя свечи все ещё продолжало качать тени в углах после её ухода. Слабее, слабее...

Он жадно прислушивался, весь вытянувшись, раскрыв рот, боясь шевельнуться.

Но шум шагов погасал, покрывался тишиной, как пеплом, и холод охватывал его со всех сторон.

Ушла!

Он попробовал заложить руки в карман и свистнуть. Сквозь пересохшие губы свист не вышел. Яблоки, бананы и груши валялись по полу, тоже как будто поссорившиеся между собою.

Диван, этот диван, на котором он так часто видел её,дохнул на него ужасом пустого гроба.

Прислушался снова. Не возвращается. Тихонько отворил дверь. Никого. Только снизу доносятся прыгающие звуки кек-уока, живые и хохочущие нагло, как зеленые чертенята.

Он бросился к окну, отдёрнул занавеску.

Около тяжелых ворот, с электрической лампой над ними, мелькнула её фигура. Он бы узнал её даже по тени.

Сам хорошенько не зная, что делает, он дунул на свечу. В темноте приходилось искать шапку. Вместо того, чтобы зажечь свечу снова, он стал метаться по комнате от дивана к столу, шаря там и здесь дрожащими руками. С тяжелым стуком упал мольберт. Какой-то круглый фрукт несколько раз попадался ему под ноги. Он отшвыривал его, но тот подка-

тывался снова, точно дразнил нарочно. Тогда он с силой наступил на него, и аромат спелого раздавленного апельсина брызнул в комнату и сразу напомнил фруктовую лавку и его превосходное настроение там.

Наконец, шапка попалась под руку. Он наугад ткнулся к двери, открыл её и опрометью бросился вниз по лестнице.

## II

Ему все ещё представлялось, что он увидит её у ворот, в нескольких шагах от дома.

Понуриив голову, она тихо идёт в теплой влажной темноте, и сквозь туман над нею светят звезды... Все, с которыми он знакомил её во время их ночных прогулок. Как заплаканные глаза, они взглянут ей в душу и напомнят...

У ворот стоял извозчик, сжавшись на козлах, — тот самый, которого он видел час тому назад: значит, она пошла пешком.

Насколько хватал глаз, на тротуаре её не было видно. Слева, в тумане, темно и расплывчато рисовалась церковь, и оттуда шла бедная женщина, сторбившаяся под тяжестью

мешка. Справа медленно шагал господин в шляпе с сигарой в зубах. Она должна была пойти направо.

В тумане, как видения, тянулись деревья вдоль тротуара, при свете фонарей, распустивших по воздуху длинный флер, точно погребальная процессия.

Жирными темно-фиолетовыми пятнами отражения фонарей дрожали на асфальте. Деревья роняли тяжелые капли с ветвей; капли ударялись об асфальт, и эти свинцовые звуки производили впечатление более гнетущее, чем в одиночестве стук часового маятника.

А что, если у неё, на самом деле, ещё ничего не было решено с тем, и только теперь она поспешила к нему, чтобы дать своё согласие? Что, если она сегодня пришла с последней надеждой? Но тогда разве так надо было вести это дело?

Да, разумеется, для неё это было дело: даже не дело, а афера. Это слово более подходящее. О, хитрая лиса! Она не брала денег! А может быть, этим-то она и хотела поймать его, и когда увидела, что не удалось...

Нет, он не прав перед ней; так нельзя было

притворяться. И он вслух повторил её слова, сказанные в страстном порыве: «Самое унижение перед тобою мне сладко».

Сел на извозчика. Затрещали колеса, наполняя шумом опустевшую улицу.

— Послушай, — обратился он к извозчику. — Ты, верно, спал?

Извозчик удивился.

— Нет и не думал спать, хотя, по правде говоря, было время выспаться: прошёл добрый час, как привёз сюда барышню. А недавно барышня ушла пешком.

Значит, она пошла к нему: это недалеко. А может быть, просто у неё не было денег на извозчика? Случалось.

Треск колёс по мостовой мешал думать, и мысли прыгали, как эта лошадь, которая, видимо, делает слишком много движений, а подвигается убийственно медленно.

В каждой настигаемой фигуре чудится она. Взгляд его напряжён до такой степени, что как бы съедает самый туман и мрак. Её нет.

Траурная процессия деревьев по обе стороны тротуара окончилась. Её перерезает шумная улица с гремящими конками и экипажа-

ми, со множеством магазинов, которые наглыми продажными глазами вызывающе смотрят наружу. На углу часовой магазин. Эти большие круглые часы хорошо известны им обоим.

Толпа. Кого-то раздавили. Все равно. Это неважно для него теперь. Как жадно сбегаются люди на кровь. Может быть, она в их толпе: она так любопытна. Он напряжённо всматривается, приподнимается в дрожках...

Дальше!

Его охватывает уныние. Никакой надежды увидеть её. За освещённым окном кондитерской фигура, похожая на неё. Вздогнуло сердце. Он даже не дал себе труда посмотреться, остановил извозчика и ринулся туда.

Уже в дверях он ясно увидел, что это не она. Но какое сходство сразу! Даже и одета почти так же. Он не повернул тотчас же обратно только из чувства, близкого к благодарности за сходство. У этой определённый, почти мужской нос, а у той в лице все женственность и неопределённость.

Он машинально покупает засахаренные орехи: она любила их и ела как-то особенно

приятно, по-детски облизывая пальцы.

Дрожки опять трещат по улице; поворачивают из оживлённой в глухую, из глухой опять в оживлённую; проезжают по мосту; открывается клочок моря с голубыми электрическими шарами, и шары сквозь туман представляются светящимися пауками, повисшими в воздухе, подобном густой паутине. Иногда оттуда доносится рёв парохода, крик чудовища, изнемогающего от тоски и одиночества в синеватых волнах безнадёжности.

Теперь у него уже определилось намерение: надо во что бы то ни стало остановить её, удержать от нелепого шага. Он вовсе не желает принимать на себя ответственность за её судьбу, а так выйдет в конце концов, если она с досады поставит на своём.

Ему надо было не злиться, не принимать этого высокомерного тона; напротив, отнестись к ней, как к ребёнку, растрогать её воспоминаниями, покрывающими все их недолгое счастье лаской бесконечной и голубой, как весеннее небо.

А сколько было забавного и смешного!..

Он улыбнулся, представив себе кое-что, и



прямо решил, что недоразумение должно быть кончено.

Что даст ей взамен этот слизняк? Надо просто послать его к чёрту, — вот и все. К чёрту! К чёрту парфюмеров!

Извозчик обернулся.

— Что угодно?

— А разве я сказал что-нибудь?

— Будто сказали что-с...

— Так. Недурно было бы, если бы извозчик меня свёз к чёрту, — опомнившись, подумал он. И сердце его стало маленьким и колким, как острие иглы.

### III

Окно её было темно: ещё не вернулась.

Он отпустил извозчика, но тот, как назло ему, остановился тут же на углу. Приходилось торчать у него на глазах.

Он стал ходить взад-вперёд по другой стороне, то и дело взглядывая в окно, жадно сторожа фигуру, приближавшуюся к воротам.

Никогда он не испытывал такого прилипчивого одиночества, как сейчас, в эту ночь, перед темным окном в третьем этаже скучного, облезлого дома.

Она у того; это верно, как магнит.

Туман проникал в платье и даже кожу, до такой степени, что начинала ощущаться его тяжесть. Мостовая казалась чешуёй спящего, ослизлого гада. Даже огни фонарей и те светились как-то сыро и мокро.

От нежности он переходил к негодованию, докипавшему до ревнивого бешенства; осыпал её злобными упреками, даже бранью и уверял себя, что дожидается её только затем, чтобы швырнуть ей в лицо своё презрение.

О, он отлично понимает её! Она не более,

как самое ничтожное создание, ограниченное и пошное, как любая мещанка. До встречи с ним она едва умела связать пару слов. Он, вместе с своими поцелуями, перелил в неё то, что открывает глаза на жизнь и природу. Может быть, это ей и помогло поймать того жирного гуся. Что ж, она в его глазах может сойти за интеллигентную особу. Пусть он на ней и женится. Она покажет ему себя. Она украсит его четырехугольную голову недурными орнаментами.

Туман как будто растворяет в себе все предметы, и они кажутся рыхлыми до того, что вот-вот расползутся, раскинуться в нем и образуют грязную, скользкую муть. Люди похожи на улиток, и самые мысли становятся мягкими, скользкими, холодными.

Он останавливается иногда около фонаря и смотрит на стрелки карманных часов. Минуты ползут одна за другой, извиваясь медленно и тяжело, как раздавленные. Может быть, они выползают оттуда, из этого темного окна, спускаются по ржавой водосточной трубе и проходят в часы прямо сквозь сердце, томительно и монотонно сверля его.

Так давно было без пяти минут девять, а сейчас всего половина десятого.

Опять затрепал экипаж. Сердце начинает биться, точно собака на цепи, почуявшая свою хозяйку. Рабское сердце! Оно вполне заслужило это сравнение: оно не более, как жалкое похотливое животное, потому что ничто, кроме похоти не могло его привязать к ней.

В этом отношении, надо сознаться, она имеет кое-что за собою. Её ласки почти вдохновенны, даже в её страстных движениях — та музыка, которая вливает каждое содрогание её красивого атласного тела в изгиб другого тела, как поцелуй в поцелуй.

Он бросается к экипажу, остановившемуся у её ворот. Какая-то фигура, похожая сзади на цифру 8, торгуется с извозчиком.

Он отходит с упавшим сердцем. Но воспоминания о её ласках уже сорвались с привязи; они несутся, переливаясь одно через другое, соблазнительные и жгучие, ещё более опьяняющие в тумане и сумраке холодеющей ночи.

Но мысль, которая давно уже хотела вы-

рваться, как убийца из засады, обрубают огненную нить воспоминаний. Он вздрагивает от бешенства. Прошло уже более двух часов. Может быть, она осталась у него в задаток будущего законного союза? А может быть, тот привезёт её домой на рассвете, часов этак в пять, как случилось не раз с ним, и она также попросит его благословить её на сон грядущий.

Он злобно смеётся, но даёт мысленно себе клятву дождаться её, хотя бы пришлось здесь стоять всю ночь, даже целые сутки.

И он не верит сам себе, когда видит её, действительно, её одну, пешком возвращающуюся домой.

Слегка покачивая своё сильное, зрелое тело, она идёт с поникшей головой.

О чем думает она в эту минуту? Ему хочется броситься к ней, но не давая воли своим движениям, он деловой походкой идёт навстречу. Ведь он не спросил её о самом главном. Среди ненужных пререканий и злых лихорадочных слов, он не узнал самого важного.

Боясь опоздать, он прибавляет шаг неза-

метно, как зверь, идущий к добыче. Они должны встретиться как бы случайно.

Она поднимает голову и останавливается, поражённая.

Ни слова не говоря, они молча стоят друг против друга, лицом к лицу.

И внезапно он чувствует, как вся его решительность уходит из него глубоко, глубоко в самые недра земли, и все тело начинает дрожать от слабости.

Сердце, задыхающееся от своего горячего биения, тяжелеет, заполняет собою всю грудь. Он хватает первые попавшиеся слова и с видом наружного спокойствия выдавливает их из себя... Совсем не те слова, которые он готовил раньше; и не те, которые хочется сказать сейчас.

Он говорит с окаменелым лицом, и его выдают только глаза, одни непослушные, умоляющие глаза:

— Ты ничего не имеешь больше мне сказать?

— Я? Нет, — отвечает она с явным удивлением на этот вопрос. Ничего, кроме удивления не выражает и её лицо. Он продолжает

смотреть на неё, и ловить искру торжества в её глазах, отблеск насмешки, которая переходит в злость, когда она, выждав ещё полминуты, произносит:

— Ты сам сказал: поздно.

И, сделав короткое и резкое движение головой, не то в знак подтверждения, не то прощания, быстро входит в калитку ворот.

Но она не затворяет калитки за собою; может быть, ещё стоит за воротами? Может быть, она ещё не поднялась на лестницу? Но у него есть гордость, не позволяющая унижаться до такой степени, чтобы бежать за ней и умолять её вернуться к прошлому.

Он с трудом переводит дыхание и готов даже улыбнуться сам себе. Однако, он и не уходит. Глаза невольно обращаются вслед за нею, и туда же рвётся сердце.

Он делает движение — из любопытства, чтобы убедиться, что она действительно ушла.

За воротами сидит дворник, с головой уйдя в свою шубу.

Лестница пуста. Только наверху слышны шаги. Шаги остановились, и откуда-то издале-

ка, глухо и жидко, донёлся жестяный звук звонка.

Ещё можно крикнуть ей, вернуть её. Но дверь отворяется там и захлопывается, лязгнув, как пасть, которая проглатывает что-то.

На лестнице минутная тишина, и потом ясно раздаются чьи-то бранчливые, непонятные голоса: верно, где-нибудь в кухне ссорятся женщины. Пахнет салом, копотью и кошками. Кажется, что и самые голоса пропитаны этими запахами. Тошно и противно. А, ведь, она живёт здесь! Становится жалко её.

Он опять, с другой стороны, смотрит в окно. Там вспыхивает свет. На занавеске, как видение, колеблется её фигура. Холодно и одиноко. Туман густеет, качается, как седое, волосатое горе. Нет больше ни звёзд, ни месяца. Неужели она не подойдёт к окну, не поднимет занавеску и не посмотрит сюда, где стоит он? Поднимаются на тени её руки, и она может в такое время поправлять перед зеркалом причёску!

Это обидело его больше всего: поправлять перед зеркалом причёску, когда он здесь страдает и мокнет в тумане! Как тупа и жестока



женщина, когда она перестаёт любить. Впрочем, я не такой дурак, чтобы терзаться из-за подобной особы!

Он, посмеиваясь, гордо выпрямляется, стряхивая с себя вместе с прилипающей ночью свою безнадежность.

Извозчик дремлет, вжав голову в воротник. Он разбудил его и велел везти себя в клуб. Можно бы дойти и пешком, недалеко, — но на этом извозчике ехала она, сидела вот здесь, где сидит сейчас он. И ему чудится в этом что-то, в чем никак не может он ещё разобраться. Но когда экипаж подвозит его к освещённому зданию, ему жаль расставаться и с извозчиком: ведь он в последний раз привёз её к нему, и жаль расставаться с этой ночью и с огнями, глядящими сквозь туман, как заплаканные глаза.

## IV

После ненастья и сумрака — тепло и свет. Это прежде всего.

Знакомые лица, но все чужие и не внушающие доверия. Видно, чтоб потерять веру во всех людей, достаточно разувериться в одном, самом близком. Движение, шум, звон денег... Общее возбуждение, в котором теряются лица и выступает одно существо — человек, с подлым свойством, гораздо менее присущим зверям — жадностью. Под трескучую музыку денег, звучащую победоносно и коварно в общем шуме голосов и движений, жадность танцует здесь соблазнительный танец с ужимками и гримасами. Даже близкие друг другу люди тут сразу становятся чужими, нередко — врагами. Лакеи в черных фраках безразлично снуют между столами и подчёркивают взаимную чуждость всех этих людей.

Трещат вновь разрываемые колоды карт, и гладкие, упругие листки летают низко над зелёным сукном и подхватываются цепкими руками, полными затаённой дрожи.

Есть что-то суеверное в этом прикоснове-

нии к картам холодеющих пальцев, в этих взглядах, которые бросают на их рисунок играющие.

Чем низменнее чувство, тем оно заразительнее, и суеверие заражает не только играющих, но и тех, кто следит за ними.

Он, потирая руки, которые никак не хотят согнуться, переходит из зала в зал, суетливо кланяется направо и налево, рыщет зорко глазами среди толпы.

Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть его. В высшей степени странно, что его нет. Он бывает здесь часто. Сегодня-то уж наверно он должен быть: так приятно показаться после этого в толпе, может быть, посмотреть в лицо побеждённому сопернику.

Ха-ха-ха! Нечего сказать, победа! Весьма сомнительная. Нужно быть самообольщённым идиотом, чтобы не понимать этого и показываться людям на глаза. Да и победа ли ещё? Что из того, что она сказала: поздно! Да и не она, а он сам. Он сказал первый.

Среди этих размышлений вдруг ощутил бледность, как бы съевшую всю кровь. Явился! Этот молодой, но уже лысый, толстый, ру-

мяный человек с брюшком, явился! Он так бел и чист, точно вымыт не только снаружи, но и внутри и отделан заново. При этом лицо его полно той неестественной значительности, которая встречается обыкновенно на фотографиях. Да он и должен был показаться всем, как мецанин, получивший медаль.

Тот также заметил своего предшественника, и не то ожидал его поклона, не то, в свою очередь, был озадачен этой встречей. Однако, он первый сделал к нему два-три шага и протянул ему руку.

— Не хотите ли вы тоже попытать счастья?

Конечно, в этих словах скрывался насмешливый намёк.

— А что ж, в самом деле: несчастлив в любви, — может быть, буду счастлив в картах.

Но тот и виду не подал, что понял.

— Нет, уж если кто в одном счастлив, так счастлив и в другом и в третьем... во всём. Значит, идёт?

К ним присоединились ещё два партнёра.

Он был знаком с одним: местный поэт, сын известного в городе ростовщика, суетливый

молодой человек, блондин с кудрявыми волосами и толстыми, мясистыми губами, похожий на перекрашенного в светлую краску негра. Другой — пожилой с медленными движениями, один из тех игроков-завсегдатаев, которых роковым образом привязывает к картам несчастная любовь или одиночество. Этот показался более симпатичным.

Карты вскрикнули в руках игрока, как живые, и веером рассыпались по столу. Сухие, тонкие пальцы стали медленно мешать их, точно ощупывая вскользь каждую карту.

Он сел как раз против жениха, — как мысленно называл его, и, казалось, что это прозвище делает того смешным и жалким. Было страшно досадно, что лицо красно и горит. «Ещё подумает, что от волнения», — морщась, размышлял он, и ни с того, ни с сего выпалил:

— Чудесная погода сегодня! Немного туманно и сыро, но это ничего... Не правда ли?

Никто ему ничего не ответил.

— Я часа три пробыл на воздухе... Даже лицо горит. И так приятно по-весеннему прозябнуть немного...

Принимая от игрока карты и вручая их же-

ниху-банкомёту, поэт с лицом белого негра заметил:

— Хватили бы коньяку. Эта погода, знаете, обманчива. Она, как женщина, готовая поразить в самое сердце, только притворяется ласковой.

После этой книжной выдумки поэт окинул всех довольным взглядом, даже не подозревая, насколько сильно задел двоих партнёров.

Они встретились глазами, и у обоих выражение было остро подозрительное и враждебное. Но тут же обменялись насмешливыми улыбками, как будто по адресу поэта. Начинаясь довольно глупая комедия, такая противная, что захотелось тотчас же встать и уйти.

В голову лезли нелепые мысли, — что он обыграет самодовольного жениха дотла, со всей его парфюмерной лавкой. Была ли бы тогда она его невестой!

Это его взбодрило, и он потребовал коньяку.

Но останавливала совсем не эта мальчишеская надежда. Было что-то другое, — какое-то суеверное чувство, вязавшееся со словами — попытать счастья.

Выпитая рюмка коньяку приятно согрела его и как бы осветила это чувство. Стало беспредметно весело и немножко жутко; он выпил другую рюмку.

— А ведь поэт прав.

Банкомёт вскинул на него глаза.

— Я не об измене женщины. Нет. А что коньяк согревает.

И, как ни в чем не бывало, обратился к поэту с благодарностью.

Поэту было не до того. Он поставил два рубля и взволнованно перебирал в кармане деньги, видимо, считая, сколько осталось после этой ставки.

Жених спокойно сдавал карты, и на левом безымянном пальце его пухлой руки переливался красивый рубин.

Кровь стучала в виски, как мягкий маленький молоточек, и, казалось, именно там выковывались назойливые мысли: она была сейчас у него; может быть, эти короткие пухлые руки обнимали её? Поздно! Она сказала, — поздно.

— Вам? — строго спросил его банкомёт, держа наготове карты.

Он ещё ничего не сообразил как следует.  
— Нет.

Банкомёт бросил карты: «жир».

Поэт получил свои четыре рубля и опять зазвонил ими в кармане, проверяя кассу.

Не может быть; она слишком осторожна и ловка.

Но другая мысль высунула язык первой: э, может быть, из-за расчёта. Она хорошо знает могущество своего тела, могла рискнуть. Задаток, — как выразился он раньше, — и это должно было послужить своего рода обязательством для парфюмерного торговца.

Карты мелькали, разлетаясь, как птицы по гнёздам.

Он почти бессознательно загадал: если карта моя будет сейчас бита, значит, подозрение верно.

Бита.

Горечь. Злоба.

Сомнения не оставалось. Все представилось с ужасающими подробностями. И тут же в красном, грубом пламени назойливо затрепетали вульгарный слова, которые тогда, после первого их поцелуя, заставили его смор-



щаться: «Я чувствую, что ты разбудил во мне самку». Это отдавало недавней связью с каким-нибудь юнкером.

Теперь она, конечно, ничего подобного не скажет. Но фокус свой несомненно проделает с тем удивленным и как бы обрадованным лицом.

Новая карта его была опять бита. Он опять загадал: если бесповоротно...

Банкомёт даже не дал взглянуть на карты и выкинул девятку.

Какая сила распорядилась им и решала его судьбу!

Он вздрогнул от суеверного чувства.

Игра все ещё шла ничтожная, и бледный партнёр почти не обращал на неё внимания, держа в углу прокуренного рта янтарный мундштук одного цвета с своими зубами.

Ещё рюмка коньяку. Вино засмеялось в нем тонким щекочущим смехом, толкая на вызов. На столе звенело несколько его золотых.

Игра сразу вспыхнула, как разгоревшейся костёр из золота, серебра и бумажек, смятых, как будто съезжившихся от пугливого ожида-

ния, вокруг которых с лёгким свистом разлетались карты.

Он все проигрывал и проигрывал. Уже своих денег почти не оставалось. Но проигрыш не переходил и к противнику: тот отдавал карту за картой своим партнёрам, и поэт, с лицом белого негра, все звучнее и звучнее разыгрывал деньгами целые мелодии в кармане.

— Позвольте мне, коллега, примазать на ваше табло?

Это был голос со стороны.

В душной атмосфере азарта, раздражаемого звоном денег, светом электричества и табачным дымом, ему почудилось в этом голосе что-то необычное.

Он увидел над собою одутловатое, вечно потное, красное лицо театрального декоратора; все знали его за игрока заядлого и едва ли не шулера. Это он познакомил его с Наташей, называя девушку кузиной. Этот человек был ему всегда антипатичен, но сейчас в этом обращении слышалось сочувствие.

— Пожалуйста. Но только, что за фантазия избрать моё табло? Карта совсем не идёт ко

мне.

— Э, я нынче в большом выигрыше. Был в корню, теперь попробую на пристяжке!

Он примазал всего рубль, как будто желая этой жалкой ставкой умерить прыть своего противника. Но тот поставил последний золотой.

Все собственные деньги были проиграны.

Он уже хотел подняться, но его соперник испортил все дело:

— Вам дьявольски не везёт.

— Ну кажется и вам не особенно везёт.

— Для меня это пустое. Я сейчас проигрываю, завтра выигрываю. Вы же играете редко. И потом у меня правило — играть до известного предела.

Что это — дерзость, или намёк? Он поспешил ответить двусмысленно и довольно неуклюже:

— Я пределов не назначаю. Иной раз так выходит, что приходится. Коли хочешь пытаться счастья, так нечего пытаться остаться в пределах.

— Только не в картах, — едко заметил жёних.

Декоратор захохотал и громко прибавил:

— А в любви ещё меньше. Самая рискованная карта предпочтительнее самой, самой... как бы это сказать. Да попросту — всякой бабы.

Пришлось раскрыть бумажник, где лежали вырученные с выставки товарищеские деньги: пятьсот рублей, которые он не успел нынче внести в банк. Вынул оттуда сторублевку.

Он проделал эту операцию медленно, но кровь заливала все его лицо. И ему казалось, — все знали, что он секретарь товарищества, — отлично видят его преступление, и особенно тот.

Пусть, тем лучше, — думал он с каким-то отравленным отчаянием в то время, как тихий, вкрадчивый голос, похожий на звон золота, успокоительно нашёптывал изнутри, что это все не настоящее: и люди, и игра, и что он никак не может проиграть товарищеских денег.

Банкомёт взглянул ему прямо в глаза, точно угадав всю подноготную, спокойно позвонил и приказал лакею:

— Новую игру.

Это спокойствие приводило его в бешенство. Кровь, распалённая коньяком, стучала в висках и вызывала на дикие выходы: неудержимо хотелось плеснуть коньяком на белый жилет жениха или подойти к нему и поднять белобрысые редкие пряди волос на голове в виде рогов... Унизить так, чтобы во-круг все невольно над ним хохотали.

Карты с угрожающим шелестом рассыпались по сукну.

— В банке тысяча рублей, — спокойно заявил банкомёт. — Но я вам сверх этого отвечаю. — И с прищуренными глазами, точно сам насмехаясь над собою, добавил: — Что делать, и я нынче вышел из предела.

Художник нагло обратил на него глаза, также прищурил их и забарабанить пальцами по столу.

Ну, я ещё из предела не вышел, но может быть выйду!

Декоратор склонился к его уху, обдавая шею горячим дыханием, пропитанным винным запахом.

— Бросьте эту музыку, ей-Богу не стоит.

Тот умышленно громко спросил:

— Что не стоит?

— Не стоит игра свеч.

Он не сразу отвёл свой взгляд от мокрых маленьких циничных глаз декоратора. Пришло в голову что тот все знает, но это была нелепость. Он мгновенно отвернулся и выбросил на стол сторублевку резким движением задев рюмку. Она со звоном вдребезги разбилась о паркет и нелепым узором разлился коньяк.

Он преувеличенно пьяно захохотал и вызывающе уставился глазами на банкомёта.

Карты разлетались в тревожном испуге, как бы чувствуя, что они ни при чем в этой борьбе; но банкомёт, видимо, сдерживал себя, стараясь придать лицу небрежное выражение и его ровные полураскрытые губы напоминали отверстие в копилке.

Бледный партнёр двумя пальцами положил мундштук с погасшей папиросой на столик, и глаза его из увядших и тусклых сразу стали ястребино-зорки.

Он поставил пять золотых и открыл восьмёрку.

Во всем подражавший ему поэт с лицом белого негра, тоже поставил пятьдесят рублей — и отдал. Звон в его кармане стал жиже, и монеты звучали так жалобно, точно просили не отпускать их.

Банкомёт то и дело взглядывал на своего противника не обращая никакого внимания на проигрыш и выигрыш других, точно играл с ним одним.

Теперь они уже были окружены целым кольцом любопытных мазунов, так как игра становилась все интереснее.

У него били карту за картой. Он с какой-то неестественной беспечностью отдавал бумажку за бумажкой и все думал, что это так, нарочно, что деньги вернутся к нему, и с ними вернётся и душевное спокойствие и все, что он сейчас теряет в каком-то необычайном сочетании с этими чужими деньгами.

Но без этого нельзя. Это так надо — для чего-то кошмарного, рокового, к чему понуждает его смутное, бурливое кипение в сердце. Но наряду с этим, если бы тот, стоящий позади него полупьяный, чужой человек взял его за руки и вывел из-за стола, он был бы, пожа-

луй, ему благодарен.

В ушах у него звенит. Или это звон золота вокруг? Маленькие, холодные глаза смотрят прямо ему в лицо, и кажется, что эти глаза страшно далеко, в бездонной пустоте, откуда идёт едкий туман и весь холод минувшей ночи.

Как медленно он сдаёт карты и как противны его пухлые руки. Каждый раз, как он даёт ему карту, кажется, что он душит её своими короткими пальцами.

Семь.

Банкомёт, не открывая первых карт, выбрасывает лицом свою прикупку, даже не касается двух закрытых карт своих, и сгребает прежде всего деньги соперника, а затем ставки других партнёров.

Все проиграно. У него ни отчаяния, ни боли. Он поворачивает голову назад и с детским легкомыслием улыбается своему союзнику застенчиво и дружелюбно.

Тот кладёт ему руку на плечо и говорит:

— Ну, *finita la comedia*. Вставайте.

Он надувает щеки и, точно желая размять члены, потягивается.



Банкомёт смотрит на него вопросительно, как шакал на жертву. А вдруг жертва притворяется и сейчас вскочит и вцепится в него.

Но жертва слегка поднимается со стула, и тот машинально поднимается тоже. И уже стоя, склонившись над столом, аккуратно укладывает в карман деньги.

Ещё коньяк не допит. Рядом с бутылкой, на месте разбитой, другая, сухая рюмка. Машинально наливает в неё коньяк, пьёт, и только тут соображает, что ему нечем заплатить даже за это вино. Тем смешнее.

Он оглядывает зал, почти опустелый: лакеи, усталые, зевают в углах, и с сонными глазами, как автоматы, идут на зов. Дым несколько разошёлся, но огни лампочек тусклы, как сонные глаза лакеев.

Он медленно огибает стол. На него не обращают внимания: глаза устремлены на руки счастливого банкомёта.

Подошёл к банкомёту, опустил руку на спинку его стула.

Тот оборачивается, выпрямляется, думает, что с ним хотят проститься:

Он, особенно изысканно и приветливо

улыбаясь, говорит:

— Садитесь.

Банкомёт, не сводя с него вопросительных глаз, опускается. Рука со стулом беззвучно отходит в сторону, и толстое, пухлое тело жениха опрокидывается на спину.

Тишина.

Затем раздаётся взрыв невольного смеха.

Поэт, с лицом белого негра, бросился поднимать багрового, все ещё барахтавшегося парфюмера.

Он на ногах. Злобным растерянным взглядом окидывает всех и останавливает его на виновнике.

Тот продолжая изысканно улыбаться, держит на отлёте за спинку стул, который также нагнулся, как бы в грациозном поклоне.

— Это безобразие!

— Скандал!

— Пьяная выходка!

— Позвать старшину!

— Удалить из клуба!

Но все это негодование выражается крайне двусмысленно, точно по обязанности, сквозь трудно подавляемые улыбки.

Они спешат к пострадавшему, окружают его, заботливо спрашивают, не ушибся ли он? Выражают преувеличенную готовность удержать его, если он пожелает броситься на скандалиста. Только декоратор стоит и, качаясь от смеха, смотрит то на одного, то на другого.

Но оскорблённый не думает лезть в драку. Он, слава Богу, не пьян и не станет скандалить в публичном месте. Он только требует, чтобы виновного удалили из клуба, а там он сумеет с ним сосчитаться.

Но старшины нет. Ведь уже утро. И никто не хочет добровольно взять на себя обязанность предложить ему удалиться.

Доигрывающие за двумя-тремя столиками просят им не мешать.

Не надо старшины. Он уйдет сам.

Все ещё продолжающий смеяться, декоратор берет его под руку, и они идут к выходу.

Высокий, лысый офицер стоит у окна, слегка отстранив тяжелую занавеску.

На минуту остановились. Сероватый свет упал из-за занавески и заставил вздрогнуть весь воздух в комнате. Ночь, как блудница,

таилась здесь, и этот светлый ангел дня застал её врасплох и принудил побледнеть от стыда.

Он был поражён: уже утро!

— А вы что же думали?

— Я и не заметил.

Тот останавливается перед ним на площадке у лестницы, всплескивая руками, ударяет ими себе по кривым коротким ногам.

— Чистое дитя. Ну, ну!

И снова раздражается смехом, от которого трясется золотая цепочка на его животе.

В другое время такая выходка могла бы обидеть, но сейчас он слабо и жалко улыбнулся. Этот чудак прав: он заслужил такое отношение к себе.

— Послушайте, — фамильярно обращается к нему тот, — когда вы ещё только пришли, я заметил, что вы не в своей тарелке, и знал почему. Ну, да. Прежде, чем поехать от вас к тому, она заехала ко мне, как к старому другу, посоветоваться. Ну, да, что вы так таращите на меня глаза, точно я привидение. Эх, дитя. Я ей такой же кузен, как и вы. Я виноват во всей истории. Я вас познакомил с нею, и те-

перь вы из-за этого проигрались. Ergo — вы должны бы взять у меня проигранные деньги.

Это было уж слишком.

В первую минуту он был страшно ошеломлён этим новым открытием и оскорблён нелепым предложением. Видел, как сквозь сон, потное, пьяное лицо и оно внезапно стало омерзительно ему. Он точно вдруг проснулся, пришёл в себя. Вобрав отяжелевшей грудью воздух, он на мгновение опустил ресницы и затем взглянув на своего собеседника с такой ненавистью, что тот опешил.

Когда он вышел на улицу, за ним как будто остался отвратительный сон.

Было раннее утро, ещё сыроватое, но теплое, прекрасное, как всякое утро после бессонной ночи. И было как-то неловко его ясного, чистого взгляда и открытого лица, и кроткого венчика на его челе. И свет его колол воспалённые от бессонницы и дыма глаза.

Звонили к ранней обедне, и никогда ещё колокольный звон не казался таким благодатным и мирным.

Ехали извозчики и попадались навстречу люди. Раннее утро, восход солнца — это достоинство трудовой бедноты; попадались все больше люди бедно одетые. Из того круга, к которому принадлежал он, встречались только те, которые, подобно ему, не спали всю ночь.

На небольшой красивой площади, откуда открывался порт, он остановился, залюбовавшись морем, и вдруг закачал головой от неизбывной жалости к себе.

Туман ещё стоял над морем, кое-где, как осадок сна, но уже открывались лиловые да-

ли, умиротворяющие и зовущие. Множество судов сушили серые, отяжелевшие от влаги паруса, и красные полосы на пароходах подчёркивали холодную зелень воды.

Заревел один пароход. В разрез с ним рявкнул другой, и в их нестройном рёве было что-то важное, дружеское.

Вот они покинут пёстрый порт и пойдут... Может быть, в Индию, в Австралию, на Азорские острова. Ясно припоминался аромат фруктовой лавки. И к обычной приятной тоске, которая охватывала его при этих впечатлениях, подошла каменная безнадёжность, незнакомая до этого времени, предчувствие неизбежного конца, навсегда пресекающего все такие волнующие мечты.

— Ах, ах, ах! — не то вздыхал, не то стонал он, продолжая качать головой, точно стоял над могилой, куда опустил дорогого ему мертвеца. Как хорошо бы заплакать сейчас, но слезы как будто также были проиграны в гнусную игру этой ночью, вместе с чужими и своими деньгами.

Часы на здании городской думы показывали семь с половиной. Он махнул рукой, как

будто именно эта рука, помимо его воли, подвела итог бессознательно решавшейся глубоко в нем задачи, и торопливо пошёл прочь от порта, где дневная жизнь уже пустила в ход все зубчатые колеса.

Он спешил застать её дома, и тот самый дворник, которого видел он ночью за воротами, вызвал её.

Она вышла даже с непокрытой головой. Лицо свежее, недавно умытое. По-видимому, хорошо выспалась и сейчас только, что встала из-за чайного стола.

Взглядывает молча теми же глазами, что и накануне, так что у него едва не вырывается эта неожиданная для самого себя фраза: тебе нечего больше сказать?

Но что же, в самом деле, хотел сказать ей он? Этого не знал и сам. Ему хотелось на неё взглянуть и с одного взгляда решить что-то необычайно важное. Наконец у него есть оправдание: он пришёл получить от неё свой ключ, ключ от своей мастерской.

Прежде всего он был озадачен этим её свежим лицом, с выражением спокойного, выжидательного любопытства. И он сказал ей,



сам не зная для чего:

— Ты видишь, я пришёл к тебе. Я не спал всю ночь напролёт.

Она сделала движение плечами, не то от нетерпения, не то от утренней свежести.

Он бормотал, сбитый с толку её молчанием и отведёнными в сторону прищуренными глазами.

— Я играл в карты и проиграл все, что имел.

Она все загадочно молчала.

— Проиграл и чужие деньги.

Он покраснел после этих слов. Не потому, что сознался в своём преступлении. Но зачем он это ей сказал! Всю унижительную ненужность своего признания он понял сейчас, после того, как она, в ответ на эти слова, неопределённо повела бровями и опасно оглянулась кругом.

Уж не боялась ли она, что кто-нибудь может их застать здесь вдвоём, подслушать? Это было бы забавно. Раньше она была способна на безумные вещи. И его уязвило это обстоятельство больше, чем даже безучастие к своему жалкому положению.

— Все это, впрочем, вздор, — оборвал он резко своё дурацкое признание. — Дело не в том. Я хотел поговорить с тобой.

Её глаза, почти скучая, спросили: о чем?

Он опять не выдержал своего чуть ли не делового тона.

— В последний раз.

С минуту подумала, все с теми же прищуренными в сторону зеленовато-изменчивыми глазами,

— Хорошо. Я сейчас оденусь и выйду. Только прошу... подождать меня не здесь, а на углу.

Она несколько запнулась, умышленно обходя местоимение.

С досадой, доходившей до боли, он посмотрел ей вслед и, понутив голову, пошёл, куда она ему указала.

Взять ключ и распротиться с ней. Сказать: я забыл вчера взять у вас мой ключ. Больше ничего. Ни одного слова больше. А если она оскорбится, напрямик заявить ей, что иначе не может и быть после того, как всего час тому назад узнал он ещё кое-что о ней. Да, кое-что такое, что окончательно уронило её в его

глазах. Дойти до такой степени, чтобы отдаваться пьяному цинику! И после этого она могла рассчитывать... А то, так просто уйти, не говоря ни слова. Пусть знает, что он не пожелал остаться, после такого оскорбительного отношения к нему в тяжёлый для него час.

Солнце успело подняться и теплым перламутровым пятном сквозило в лёгких, совсем весенних облаках. Слабые, как улыбка на больном лице, ложились тени на подсохшей солнечной стороне.

Она показалась в кофточке, в шляпе. На ходу застёгивала новые перчатки; даже не уредила шаги, равняясь с ним, и он не сразу вступил с ней в ногу.

Они прошли порядочное расстояние молча. Нищая девочка привязалась к нему, забегала вперёд, кланчила.

— У меня нет ничего.

Но так как нищенка не отставала, он сунул руку в карман пальто, — может быть, засорилась мелочь, — и наткнулся на коробку с засахаренными орехами.

Он почему-то сконфузился и сунул коробку нищей.

Та подхватила и кинулась прочь.

Он уловил подозрительный взгляд и должен был объясниться, чтобы она не думала, что он был ещё где-нибудь, после того, как с ней расстался: чистосердечно рассказал, каким образом купил эти орехи.

Она была очень чувствительна. Глаза её отвечали слезами даже на пустяки. Но то, что тронуло бы её, может быть, ещё вчера, сегодня, наверно, опять произвело жалкое впечатление.

Он сжался, нахмурился, проникая в её настроение с тою остротой, которая сообщалась, ему бессонной ночью и взбудораженными нервами.

Они шли знакомыми улицами по направлению к его мастерской. Это делалось как будто машинально, но в нем возбуждало затаённую надежду, которая ещё не смела поднять крылья.

Последний туман совсем рассеялся, но в лёгкой влажности воздуха, не поддававшейся солнцу было, что-то почти ядовитое, как в незрелых, плодах.

Магазины по случаю праздника остава-

лись заперты, и на улицах шевелилась ротовейная скука, обесмысливающая самый воздух. Все звуки и голоса дня падали в её раскрытую пасть и исчезали там без отклика и радости.

Его охватило неестественно поднятое чувство чистосердечия: желание раскрыть перед ней всю душу. Он уже не мог остановиться и, растравляя себя воспоминанием об этой ночи, рассказал, как искал её всюду. Она изредка взглядывала на него и силилась разгадать за этой расслабленной искренностью, — ради чего он вызвал её так рано утром?

Раздался резкий звук рожка, от которого воздух сразу потускнел, точно в него влилась черная струя; карета скорой помощи промчалась посреди улицы, почти непрерывно продолжая трубить. Где-то несчастье: убийство, самоубийство... Катастрофа особенно подходила к этому дню.

Он, бледнея, прервал свою исповедь.

— Как это странно... Опять где-то кровь... И вчера также... И тогда... Помнишь? После первого свидания...

У неё появилось испуганное выражение.

Уж не угроза ли это?

— Все это пустяки. Случайность, не больше, — сказала она.

— Все роковое случайно. Как-то так бывает, что то, что вне случайности, чаще всего не важно. — И, опуская голову он мрачно закончил: — Нами владеют какие-то темные силы, совершенно опрокидывающие все, что мы считаем полезным, нужным для себя.

Ну, нет, она не согласна с этим. Человек может поставить на своём всегда, если захочет.

— Да? Значит, ты так хотела?

— Не будем об этом говорить.

— Почему?

— Потому, что это ни к чему не приведёт.

— Но неужели мы не можем поговорить друг с другом по душе? Ну, вчера иное дело. Я был слишком поражён этой неожиданностью. Ты поставь себя на моё место. После того, что было почти накануне... Ведь всего за три дня! — с отчаянным недоумением воскликнул он.

Поравнялись с мастерской.

— Зайдём, — предложил он, в то время,

как сердце его замирало.

— Зачем? Нет.

— Ты боишься?

— Чего мне бояться?..

— Я уж не знаю. Вероятно, меня?

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, так зайдём. В последний раз, — обратил он к ней чересчур открытые глаза.

На мгновение задумалась. У него захватило дыхание. Но вдруг нахмурила брови и решительно отрезала:

— Нет.

— А! Может быть, ты боишься себя?

— Я... себя! Почему это?

— Ну, все же, что-нибудь да значат для тебя эти стены.

Голос его задрожал. Она нетерпеливо сделала движение.

— Довольно... идём.

— В последний раз! — уж не владея собой, продолжал он. — В последний раз я хочу поцеловать твои руки там, где я целовал всю тебя. Ах, мне кажется, что в нашем большом зеркале ещё осталось отражение твоей наготы!

— Нет, нет.

— Ну, что может прибавить к тому, что было, это последнее посещение?

Она с лихорадочным упрямством покачала головой.

— Нет. Нет!

Тогда он стал напоминать ей беспорядочно и страстно их встречи, где еле-еле уловимые, трогательные черты нежности золотых вечеров, певучего молчания ночью у берега моря, или в парке, мешались с буйными образами их ласк, в которых вырывались слова, подобно огненным птицам, наполнявшие воздух вскрикиваниями и стенаниями.

Она пыталась прервать его, но он не слушал и говорил с горящими глазами; пыталась уйти, — он держал её руку и тянул за собою. Она уже начинала заражаться его безумием. Ему казалось, что она уступает, пойдёт к нему. Это вознаградит его за все перенесённые унижения.

По двору глухо раздались твердые отчётливые шаги.

Она рванула руку и сразу пришла в себя.

Мимо них прошёл господин в котелке, с



сигарой в зубах, тот самый, которого он видел ночью: дурное предзнаменование.

Она пошла вперёд.

Он некоторое время стоял, с трудом переводя дыхание; потом бросился вслед за нею в расстёгнутом пальто, полы которого развевались.

— Умоляю тебя!

— Этого не будет.

— А, вот как! Ты даже не желаешь исполнить последней просьбы моей, хотя для тебя это ровно ничего не стоит. Да, да, ничего не стоит! — с ненавистью говорил он. — Ведь ты так щедро раздаёшь свои поцелуи. Ах, да ведь я же знаю! Уж меня-то тебе не провести. И, надо сказать ещё, ты была не особенно разборчива. В этом меня убедил вчерашний господин, у которого ты была после меня. Нет, нет, не тот, а другой, ещё пошлее и ещё ничтожнее! Пьяное животное. И он тебя в сущности презирает, иначе не стал бы мне сам рассказывать. Да, да, он сам мне и сказал: «Я ей такой же кузен, как и вы». — Ну, что, слышала!

Она остановилась пред ним, сначала оше-

ломлённая от сыпавшихся на неё ударов, но злобный огонь разгорался в её глазах и лицо приняло вызывающее выражение. Она тряснула головой и цинично выкрикнула:

— Ну и что ж! Ну, да, я такая! Но ты-то как смеешь, говорить мне это? Ты смеешь ругать их, когда ты в тысячу раз хуже! О, как я тебя ненавижу теперь! Ах, ты...

Лицо её совсем исказилось от бешенства, губы дрожали и в глазах стояли слезы. Она скрипнула зубами и почти побежала прочь от него по улице, поднимавшейся прямо к церкви, которую они любили и почему-то звали наша церковь, хотя ни разу в ней не были.

Этот гнев её и грубое бранное слово, едва не сорвавшееся у неё с языка, оскорбили и уничтожили его окончательно. Но то, что жило в предчувствии теперь вырвалось на волю.

Он побежал вслед за нею и, задыхаясь, заглядывая сбоку в её лицо, бормотал:

— Ну, прости меня. Прости!

— Нет, не прощу никогда!

Если бы она могла сейчас как-нибудь отомстить за унижение, она бы ни перед чем не

остановилась; даже перед жертвой с своей стороны.

— Пойми. Пойми! Если бы я не любил, я бы мог отнестись к этому спокойно.

— Неправда все это! Никакой любви ко мне у тебя нет и не было, а просто ты ревнуешь и злишься, что я ухожу от тебя.

— Я могу доказать тебе, что ты ошибаешься.

— Чем это ты докажешь?

— Я докажу!..

Они остановились и в упор глядели друг на друга.

— Я вчера говорил тебе...

— Неправда!

— Ты мне сказала: поздно... Сказала?

— Нет, это ты первый сказал — поздно.

— Да, но я потом побежал за тобой... Ты должна была понять...

Оп вобрал в себя воздух и выдавливал слова, как бы пропитанные кровью.

— И все же, несмотря на твое «поздно», несмотря на все, что я узнал, я пришёл опять к тебе.

Она резко расхохоталась ему в лицо.

— Ты, видно, издеваешься надо мною. После всего, что бросил ты мне в лицо и что я подтвердила, ты чуть ли не предлагаешь мне...

— Да, да, предлагаю... Я нисколько не издеваюсь.

— А, значит, ты уверен, что я сама откажусь от этой чести. А если нет? Если я скажу: я согласна. Ты скажешь, что пошутил.

— Я!..

Как ночью он не верил в то, что игра в карты настоящая и он проигрывает чужие деньги, так и теперь.

— Я?.. Вот церковь... Если хочешь, сейчас же зайдём туда. Мы подготовим все... Я не знаю, что и как там...

Она смотрела на него во все глаза, все ещё ему не доверяя. На мгновение почувствовала злорадное торжество над ним. Но ведь, это торжество падёт, как только она откажется. Отказаться ничто не помешает ей даже в последний день, а между тем, и в глазах того это поднимает её фонды. Она моментально взвесила все, но из упрямства, из желания утвердить за собою принятую позицию, не переста-

вала саркастически посмеиваться и выражать ему почти презрительное недоверие.

— Да, да, конечно, со мной можно поступать, как угодно. Со мной нечего церемониться, особенно после того, как я была твоей рабой, твоей куклой.

— Оставь это отвратительное слово! Ты может быть, права, что сейчас мстишь мне, но, ведь, я хочу искупить свою вину.

— Ах, значит, это — искупление, жертва с твоей стороны? Ведь тот не смотрит на своё предложение, как на жертву.

Она едва не испортила дела этой выходкой, но сейчас же спохватилась:

— Да, нет... Что же я, в самом деле, принимаю всерьёз твою злую шутку надо мной!

И протянула ему руку.

— Ты видишь, я прощаю тебя.

Он взял её руку, но не выпускал и продолжал с жестоким для себя спокойствием:

— Ты меня не поняла. Я вовсе не смотрю на это, как на жертву или как на искупление. Ты увидишь, что тебе не придётся делать такого обидного для меня сравнения.

Она все ещё делала вид, что колеблется.

Глаза её были опущены, губы плотно сжаты. И только где-то глубоко в груди покалывало чувство, похожее на сожаление: почему не раньше! Ведь она до вчерашнего вечера любила его.

Она подняла лицо и остановила на нём долгий взгляд.

В этом взгляде он не видел ни благодарности, ни, тем более, любви.

— Хорошо, — произнесла, наконец, она. — Вот тебе моя рука.

И она протянула ему руку с таким видом, как будто между ними состоялась не более, как торговая сделка, покуда на слово.

Он взял её руку, с насильственным приветом улыбнулся и шагнул на ступеньку.

Она последовала за ним.

Он поднимался по стертым каменным плитам церкви, будто всходил на эшафот.

На паперти взгляды их встретились.

В то время, как губы кривились в жалкую улыбку, глаза выдавали их. Они, как преступники, вместе задушившие в эту ночь зыбкую радость жизни, тяжелым союзом скрепляли тайну своего преступления.

# Нерв прогресса

Дежурство Барбашева начиналось с шести часов вечера. Он плеснул себе в глаза водою прямо из умывальника, в котором плавал окурок. Вода на этот раз показалась ему неприятной.

Подняв упавшее за кровать полотенце, он утерся и стал напяливать на себя старый и нечистый мундир. Но руки как-то не сразу попадали в рукава. Барбашеву было не по себе; во всем теле ощущался озноб, точно его налили холодной водою; спал он тоже каким-то кисейным сном, и ему в полузабытьи все представлялось, что из головы у него, как с кружащегося телеграфного колеса, тянется бесконечная лента.

«Не стоит пить так много», — подумал он обычным порядком и пошёл из своей маленькой, промозглой, прокуренной и надоевшей ему комнаты вниз, в телеграфную.

На узкой, пахнувшей кухней и кошками лестнице было темно, но телеграфист знал каждый шаг по ней. Из квартиры начальника станции доносился хриплый, но ещё сдер-

жанный голос, мрачно выводивший насильственным басом:

*Я не мельник. Я ворон!*

«Ещё только на первом взводе», — машинально определил по этому голосу Барбашев. С другой стороны визжала собака; помощник начальника станции дрессировал своего пойнтера Стивенсона и приговаривал:

— Я тебе русским языком говорил: апорт! апорт!

Все это давным-давно надоело Барбашеву, как и вся станция Заболотье, где он живёт, кажется, целую вечность... Все одно и то же. Внизу непременно сейчас суетится буфетчик Пармен Петрович, к каждому поезду выходящий с таким серьёзным лицом, будто делает какое-то важное дело. Он освежает бутерброды с икрой, похожей на ваксу, облизывая их влажным языком, а то так и прямо поплёвывая на них и смазывая пальцами.

Заслышав шаги Барбашева, товарищ его, которому он шел на смену, молодой угреватый телеграфист Кудрявцев, прозванный Тютиком, с шумом отодвинул стул и почти



столкнулся с Барбашевым в дверях.

— Наше вам с... с... с кисточкой! — слегка заикаясь, приветствовал Тютик старшего товарища. — А я уж, знаете, боялся, что в... вы запоздаете, и я н... не успею к поезду.

Барбашев ничего не ответил на приветствие. Опоздать он не мог, не потому, положим, что заботился, чтобы товарищ его успел пройтись по платформе и буфету во время пятиминутной остановки поезда, а просто по привычке.

Кудрявцев неизвестно чему рассмеялся и пустился наверх к себе переодеться к пассажирскому поезду, напоминая движениями молодого лягаша, а Барбашев сел перед аппаратом на его стул, ещё не успевший остыть от сидения, и принялся за работу.

Аппарат застучал нервно и торопливо, как живое сердце. Телеграфист машинально слушал знакомое постукивание как живую, понятную речь. Ему не надо было даже смотреть на тонкую ленту бумаги, чтобы понять эту речь. Он машинально ловил сжатые, отрывистые фразы и так же машинально передавал их дальше.

В маленькой телеграфной, с окнами, запо-рошенными снегом, местами блестящим от лампы бриллиантовыми и жемчужными искрами, раздавался ещё мягкий стук часов, и казалось, часы и аппарат постоянно спорят между собою. Аппарат рассказывает что-то бесконечно и нервно, а часы, не слушая его, твердят одно и то же: так-нет, так-нет, так-нет...

В этом однообразном постукивании часов было что-то роковое, как и в движении стрелок, которые, подобно двум тонким пальцам, шли от одной цифры к другой по своему кругу.

В этот час должно быть то-то, а в тот — то-то... — молча указывали эти тонкие пальцы. Так оно и случилось, точно все здесь делалось не только по их указанию, но и по их собственной воле. И вся эта бедная станция со своими проволоками, аппаратами и даже людьми только затем, по-видимому, и существует, чтобы повиноваться им.

Вот когда один палец, поменьше, остано-вится на цифре VI, а другой — на XII, к Заболотью подойдёт поезд № 23. И не успели часы

указать это, как за окном послышался грохот, тяжелые вздохи и шипенье. Запорошенные снегом окна телеграфной вспыхнули сначала багровым светом, а затем вдруг замигали, точно перед ними снаружи кто-то сперва быстро, потом все реже махал взад и вперед фонарём, отчего бриллианты и жемчуга на окнах то вспыхивали, то погасали.

Но вот маханье прекратилось. Прозвонил станционный колокол. Грохот и вздохи утихли, зато послышался другой шум, голоса. Перед окнами быстро и беспокойно замелькали тени. Раздалось хлопанье дверей.

Аппарат продолжал говорить, а часы в ответ ему повторяли одно и то же: так-нет, так-нет, — указывая тонкими пальцами, когда эта суета и шум должны прекратиться и поезд унести дальше.

Телеграфист уже готовился распоряжение тонких пальцев передать аппарату, как в комнату вошёл, скрипя вычищенными сапогами, кондуктор, с запахом снега и свежего воздуха. Он стряхнул с усов иней, торопливо поздоровался, подал листок бумаги с двумя строками и, получив расписку, удалился как

раз в то время, когда колокол звякнул за окном два раза, и тени снова заметались на стеклах.

Суэта в зале и на платформе прекратилась. Поезд засвистел, загромыхал... На стеклах снова закачались огни, и скоро все умолкло, кроме спора часов с аппаратом.

Телеграфист отправил служебную телеграмму и пробежал строки, написанные на клочке бумаги, по-видимому, вырванном из записной книжки:

«Станция Дубки. Балиной. Ура. Целую твои маленькие ножки. Высылай лошадей, поезд № 23».

Никакой подписи под телеграммой не было, но фамилия Балиной показалась Барбашеву странно знакомой, даже близкой.

Аппарат застучал.

Дверь телеграфной опять отворилась, и, прежде чем вошедший что-нибудь сказал, Барбашев знал уже по тяжелому запаху гуттаперчи, что это Тюттик в своём непромокаемом плаще с капюшоном, который он гордо набрасывал на плечи решительно во всякую погоду, выходя к пассажирским поездам. Он был

убежден, что этот плащ придаёт ему особенно интересный, чуть ли не демонический вид, особенно вместе с синим пенсне на толстом черном шнурке, которое он, как и плащ, надевал только к поездам.

— А-ах, б-б-батюшка! — освобождая из-под заветного плаща руки, поднимая их кверху и закатывая в восторге глаза, залился Тюттик. — Какую я ф-ф-финтиклюшечку видел! Р-р-розан! Я... п-подлетел к ней, как раз к-когда она хотела со ступеньки прыгнуть. Я... т-тут как тут... Р-руку таким м-манером...

Он сделал выверт рукою и, склонив голову набок, выставил правую ногу вперёд, наглядно рисуя картину, причём на его угреватом лице, с покрасневшим от холода, заметно раздвоенным кончиком носа, разлилось блаженство, охватившее как будто даже и фуражку, едва державшуюся набоку белокурых кудрей, и выпущенный на лоб, из-под козырька, закрученный штопором локон.

— Она... п-представьте... подаёт мне руку, и мы гуляем по платформе. Мерси... Пардон... и все такое. Обращение самое тонкое. По всему видно, ар-ристократка девяносто шестой про-

бы, и аромат от неё... ап-п-попонакс чистейшей воды, — продолжает с возбуждённым видом трещать Тютик.

«Целую твои маленькие ножки...» — выстукивает на аппарате старший телеграфист, слушая, как во сне, голос товарища, силясь и боясь вспомнить в то же время, откуда ему знакома фамилия Балиной.

Тютнику досадно, что его не поддерживают... вряд ли слушают... Он слишком взволнован, чтобы остановиться на этом сообщении.

— Н-на прощанье я у неё, натурально, фотографию просил в з-знак памяти, и она... представьте... обещала. Честное слово!

Бедный Тютик! Он всего седьмой месяц в Заболотье. Приехал он сюда с гуттаперчевым плащом, маленьким чемоданом и альбомом переписанных стихов из уездного города Кряжева, где, по домашним обстоятельствам, дошёл только до третьего класса гимназии. Однако, попав в телеграфисты, он твердо веровал, что его деятельность — своего рода миссия. Даже в альбоме его была тщательно написана откуда-то фраза, которую он любил повторять: «Телеграфист — нерв прогресса».

К каждому пассажирскому поезду этот «нерв прогресса» выходил в своём резиновом плаще, из-под которого сверкали пуговицы телеграфного мундира, оберегаемого как святыня. Обходя платформу, засматривая в окна вагонов и в лица пассажиров, постоянно сменяющиеся перед ним, Тюттик грезил о каком-то несбыточном счастье, которое должно было свалиться на него как с неба. Часто ему казалось, что он ловит взгляды прекрасных глаз и улыбки, полные обещания. Но поезд уходил, а вместе с ним угасали и следы этих взглядов и улыбок, как те огненные искры, которые бросал из своей трубы поезд, уносясь из Заболотья. Казалось, то был только мимолётный сон, а действительность — эта станция со всеми её обитателями, с телеграфным аппаратом и начальником, который от поезда до поезда, с редкими перерывами, гудит басом, более или менее пьяным:

*Я не мельник... Я ворон!*

Но и «нерв прогресса» носит в груди не часы и не телеграфный аппарат вместо сердца. И его молодость не может питаться убогою

жизнью Заболотья... Ей хочется любви и счастья, подобного тому, которое дразнит воображение со страниц когда-то прочитанных и случайно попадающих здесь в руки романов.

А счастья нет. Оно проходит мимо, боишь куда, как эти поезда, набитые людьми, и голодная фантазия хватается за каждый мимолётный взгляд, чтобы создать из этого целую историю.

Старшему телеграфисту эти истории хорошо знакомы. В другое время он или подшутил бы над товарищем, или стал бы уговаривать его бежать отсюда куда глаза глядят, поступить хоть в городские, хоть в извозчики, только не отдавать свою молодость, своё сердце во власть этих часов и телеграфного аппарата.

— Ведь эта прокислая, заплёванная станция будет гробом вашим, как стала моим гробом! — внушал он Тютюку, когда напивался. Но для Тютюки ещё не настало время безнадёжности. Тютюк мечтал. И на этот раз Барбашев не стал мешать его мечтам: ему было не до того. Да и, наконец, неизбежное придёт со временем. Пусть Тютюк тешится. Скоро, скоро



придёт.

Давно ли, кажется, сам он приехал сюда! Или нет, именно давно... Страшно давно... Эти двенадцать лет иногда представляются ему вечностью, отделяющею его от прошлого. А миновали они незаметно, потому что каждый день было одно и то же.

Ему всего тридцать два года, но он так опустился, особенно за последние четыре-пять лет, что похож на человека совсем «конченного». А давно ли, кажется, он был таким же точно «Тютиком», как Кудрявцев...

Так-нет... так-нет... — стучат часы.

Годы прошли под стук этих часов уныло и томительно. Прошли, как в мелком осеннем дожде по липкой дороге идут солдаты, иззябшие, полуголодные, теряя с каждым шагом надежду встретить когда-нибудь отдых, тепло и уют.

Разве это жизнь!

«Целую твои маленькие ножки», — насмешливо звенит фраза, и телеграфисту начинает казаться, что её уже повторяет собственное его сердце, как телеграфный аппарат, неравномерными постукиваниями.

Как бы кто-нибудь посторонний не услышал этого стука!

Но Тюттик, не найдя поддержки, уже ушел из телеграфной и играет теперь с буфетчиком в карты по носам или сидит один у себя в конуре, тренькая на гитаре и напевая дрожащим голосом:

*Проведемте, друзья,  
Эту ночь веселей,  
Пусть телеграфистов семья  
Соберётся тесней.*

Из сердца Барбашева звон разносится по всему телу и ударяет в голову до того, что виски начинают гудеть от боли. В теле ощущается тяжесть и томление, которое он приписывал тому, что накануне хвачено через край. А может быть, и оттого это, что они вчера с начальником боролись на снегу, поснимав жилетки. Барбашеву нездоровится, и, вероятно, от лихорадочного состояния так неотвязно томит его одна и та же мысль.

Кажется ему, тут, на станции, осталась только его оболочка, гудящая и ноющая, как телеграфный столб, а все, что одухотворяло эту оболочку, несётся вдаль вместе с теле-

граммой: «Целую твои маленькие ножки».

Эти четыре слова радостно летят к своей цели, как живые. Сначала по заиндевевшей телеграфной проволоке, которая поёт и гудит ими во мраке холодной ночи, а потом с нарочным в помещичью усадьбу, вёрст за десять от станции, в виде одной строки, написанной таким же, как он, одиноким, несчастным телеграфистом.

Когда поезд № 23 подходит к станции, тройка лошадей уже ждёт, нетерпеливо переступая и позвякивая бубенцами у крыльца:

— Пожалуйте!

И счастливец в санях с медвежьей полостью мчится в усадьбу. Переливаются бубенцы. Дерзко и странно сверкают звезды. Молодой месяц, с правой стороны тонко изогнутый, как серебряный лук, врезан в высокое небо. Весело снег хрустит под полозьями и вспыхивает от звёзд и месяца алмазами, и, точно слоновая кость, блестят кое-где по дороге наезженные колеи.

Телеграфист удивительно ясно представляет себя на его месте, и ему даже чудится теплый пар от лошадей. Усадьба темнеет вда-

ли, резкими черными тенями вырезываясь на снегу. Огни её, как радостные глаза, зовут и манят к себе. Лай собак, услышавших знакомые колокольчики, весело будит морозную тишину. Его встречают люди с фонарями; тени от них прыгают и мечутся на снегу.

И вот он у этих маленьких ножек. В золотом тумане перед бедным телеграфистом — роскошная комната, непременно с камином, разливающим тепло, с мягкими пушистыми коврами, с роскошной обстановкой, вроде той, которую он ещё до поступления на службу видел, случайно попав туда, в одном богатом ресторане в Москве. Он всматривается в очаровательное лицо её... в её черты. Теперь он узнает это лицо. Да... да!.. Он вспомнил... Он видел её два раза.

Это было лет семь назад, в молодое апрельское утро.

Грачи неистово кричали на ветвях ещё голых деревьев возле станции, точно споря о каком-то важном деле, и ветви, тихо звеня, трепались по ветру как-то особенно возбуждённо и весело. И белые облака высоко в небе стояли так торжественно и приветливо, точ-

но они были присланы сюда издалека, чтобы сообщить какую-то необыкновенно радостную весть Заболотью и всем его обитателям, и чистая синева между ними, как будто узнавшая эту радостную весть, сияла наивно и нежно. Ворковали голуби. Земля дышала теплым паром и зеленела первой травой. И все Заболотье имело свежий и улыбающийся вид. Даже неизменные возчики, прасолы и евреи, каждый день являвшиеся по каким-то делам на станцию и сообщавшие ей ещё более непривлекательный вид, и те не казались в это утро так скучны и противны, как всегда. На платформе красным пятнышком алела босая маленькая девочка, дочь стрелочника, с первыми фиалками, нарванными ею для продажи пассажирам.

Барбашев вышел к поезду и прохаживался по платформе, чувствуя себя молодым и бодрым. Он был в мундире, пуговицы которого были вычищены мелом, а пятна выведены чаем и бензином. Он был красив и строен и сам это сознавал, и такое сознание поддерживало в нем надежду на счастье, которое должно было явиться чудом.

Проходя мимо вагона первого класса, телеграфист увидел на площадке блондинку, поразившую его своей красотой. И когда он поравнялся с нею, она взглянула на него и уронила букет первых фиалок, вероятно, купленных по дороге у какой-нибудь деревенской девочки, вроде той, которая красным пятнышком мелькала у вагонов.

Телеграфист быстро подскочил, поднял букет и протянул его красавице. Она оглянулась и лукаво сказала:

— Можете оставить у себя.

Он вспыхнул и ничего не нашёлся ответить ей. Поезд свистнул и тронулся. Улыбающиеся серые глаза, удаляясь, смотрели на него.

С этого дня ему ещё больше казалось, что скоро свершится чудо, которое сразу перевернёт все его скучное, тусклое существование, и букетик фиалок — залог этого чуда. Сначала он ждал его в виде красивой блондинки с серыми глазами. Ему все казалось, что она вот-вот вернётся. Потом он стал искать его в других прекрасных глазах, мысленно спрашивая каждый раз: «Не здесь ли?..»

Но чуда не было.

Букет фиалок, аромат которых он любил вдыхать, оставаясь один и раздражая своё воображение мимолётно сверкнувшей ему улыбкой, увял и даже запылится. И Барбашев стал также мало-помалу увядать и покрываться пылью вместе со своим мундиром. Каждая новая весна уже все меньше возбуждала в нем желание счастья и надежды.

Он опускался, грязнился вместе с этой станцией. Дни и даже времена года были так однообразны, будто то были статисты в плохом театре, которые ходили вокруг Заболотья все с одними и теми же штуками.

Весна с теми же грачами и облаками. Но она уже не могла его обмануть несбыточной надеждой. Лето с теми же мухами, слетавшимися на Заболотье как будто со всего мира... Осень... Зима... Все одно и то же.

И та же степь расстилалась вокруг, и лица на станции были все те же. Все как будто заколдованное от времени. Те же телеграммы... Те же поезда... Те же пассажиры на них. Он даже перестал думать о переводе на другую станцию, куда-нибудь поближе к городу. Не

все ли равно, в сущности, на какой станции плесневеть! Везде — Заболотье.

Барбашев стал выпивать.

На Заболотье все пили, начиная с начальника и кончая стрелочником, но это нисколько не мешало им исполнять свои обязанности с тупою механическою аккуратностью. Начальник станции, пивший больше всех и орудий: «Я не мельник!.. Я ворон!..», в известный час был на месте как ни в чем не бывало и аккуратно проделывал все, что полагается, как хорошо заведённая машина, а как только поезд уходил, превращался в ворона и снова орал и размахивал руками, собираясь лететь.

А жизнь шла, и шла мимо. Каждый день она проносилась взад и вперёд в тысячах лиц, куда-то стремящихся, чего-то ищущих. У каждого были свои дела, каждый вёз с собою мир надежд и желаний.

Для этих людей Италия, Швейцария... Париж... большие города... все, кроме Заболотья, мимо которого они стремились пронестись как можно скорее.

Только однажды судьба как будто пожелала отомстить этим вечно сменявшимся лю-



дям за то, что они избегали Заболотья.

Это было лет пять назад, как раз накануне Рождества. Вьюга, бушевавшая несколько дней, занесла путь снегом и, как выражались инженеры, набила на пути такие «пробки», пробиться сквозь которые не было никакой возможности. Какой-то американский плуг, предназначенный для расчистки снега, сломался, и поезда, шедшие на юг, застревали в Заболотье. Вьюга бушевала вокруг Заболотья и днём и ночью, и вся степь как бы дымилась снегом, крутившимся в каком-то бешенстве. Телеграфные проволоки гудели и пели, как струны диких арф. Деревья свистели в воздухе ветками. Казалось, вся станция Заболотье вот-вот унесется в этом снежном дыму, потонет в холодных волнах его.

Поезда один за другим подходили к Заболотью и останавливались. На станции скопилось до тысячи людей, негодовавших, кричавших, пивших, евших, грозивших кому-то и требовавших начальства. Заболотье ожило так, как ему никогда не снилось.

Начальнику уже не было времени петь: «Я не мельник!.. Я ворон...» Не чувствуя под со-

бою ног, он растерянно носился здесь и там, охрипшим голосом отвечая на все претензии:

— Господа — я не Бог!

Телеграфисты также работали чуть не до потери сознания, принимая и отправляя депеши.

В последний вечер в телеграфную вошла блондинка в лисьей ротонде, пахнувшей духами фиалок и мехом, и подала телеграмму.

Барбашев машинально принял её, и ему показалось, что когда-то где-то он видел это мимолётно явившееся ему лицо. Но усталость и масса работы не позволяли остановиться на этом впечатлении. Он отправил телеграмму, и кажется, она была адресована на станцию Дубки, и подпись под нею была — Балина.

Однако впечатление так запало в душу, что, окончив своё дежурство, полумёртвый от усталости, прежде чем идти спать, он прошёл по зале, ища глазами блондинку в толпе.

В зале её не было.

Тогда он отправился наверх, в квартиру начальника станции. Там часть этой огромной толпы, желая как-нибудь убить время, устроила импровизированный концерт: на-

шлись певцы, певицы, музыкант со скрипкой и даже какой-то поэт, читавший с необычайным пафосом свои стихи и потрясавший головой и руками.

Но блондинки не было. Она точно в воду канула. Может быть, спала где-нибудь в вагоне. А может быть, измученному телеграфисту пригрезилась она в минуту невыносимой усталости.

Как бы то ни было, вернувшись в свою конуру, он достал откуда-то полуистлевший букет фиалок и швырнул его за дверь.

Теперь и эта встреча припомнилась Барбашеву, и он уже не сомневался, что то была именно Балина, маленькие ножки которой будет целовать пославший телеграмму. Кто он? Её муж? Любовник?

Так-нет, так-нет... — стучат часы, и движутся роковые тонкие пальцы. Все Заболотье погружено в сон, и не спят только эти тонкие пальцы да одинокий телеграфист. Ему то холодно по временам, точно он налит весь ледяной водой, то он пылает от жара, и вся кровь в нем звенит, звенит необычной, волнующей музыкой. Он все яснее и яснее чувствует, что

здесь, в телеграфной, только часть его, нечто вроде футляра, а сам он — у той пристани, о которой мечтал так давно и так страстно.

Бедный Тюттик! Ему вряд ли придётся когда-нибудь переживать то, что переживает теперь старший товарищ. Долго ещё будет он слышать рёв пьяного начальника: «Я не мельник!.. Я ворон» — и довольствоваться ласками грязной кухарки на коротких ногах, попавшей на станцию из голодной деревни.

Как тепло греет камин! Как приветливо светит лампа! С какою завистью звезды смотрят на его счастье! Он рассказывает ей суровую повесть своей жизни, скудной станционной жизни, и она плачет от горя за него и своими ласками старается заставить его забыть весь гнёт этих страшных двенадцати лет и вернуть ему свежесть и чистоту его молодости... Она плачет... Её слезы смочили ей лицо. Он пьёт их своими губами с её ресниц, и губы сохнут от них, и ему невыносимо хочется пить...

Но он счастлив... Он любим... Ему хорошо около этих маленьких ножек в то время, как за окном морозная ночь, и где-то далеко, да-

леко, точно в ином совсем царстве, в грязной телеграфной сидит несчастный одинокий телеграфист, его брат и двойник — Барбашев.

И он видит этого жалкого телеграфиста, никогда не знавшего, что такое счастье, опустившегося, мрачного. Он давно не бреется и не моется не только тем душистым мылом, с запасом которого приехал в Заболотье двенадцать лет назад, но вообще мылом. Его опухлое от однообразной работы, бессонницы и водки лицо заросло бородою и стало некрасиво.

И никогда с такою ясностью он не видел своей безнадежности и ужаса своего положения, как в эту минуту. И ему становится страшно жалко себя и завидно всему миру. Почему счастье быть около маленьких ножек и целовать их выпало не ему, а кому-то другому, быть может, менее достойному и уж наверное не так жаждущему этого, как он?.. Неуклюже и тяжело поворачиваются эти мысли в больной голове телеграфиста, и судьба, бросившая его на эту станцию, кажется ему воровкой, укравшей у него для кого-то другого его счастье.

Так-нет, так-нет... — стучат часы, и трещит без умолку аппарат. Страшная ненависть охватывает Барбашева к этому стуку, к этим колёсам, стрелкам и ко всей этой станции. Так бы вот, кажется, вскочил и начал разбивать все кулаками и топтать ногами, мстя за свою задавленную жизнь и судьбу. Но ему лень встать. Истома все больше и больше охватывает его. Голова кружится, и в висках стучит, а по телу разливается странное иглистое пламя, заволакивающее иногда глаза радужными облаками.

По временам сознание просвечивает сквозь эти облака, и Барбашев чувствует, что ему нехорошо, надо что-то сделать, куда-то пойти. Быть может, повеситься на этом крюке, который так и тянет его к себе со стены. Но лень встать, так как кто-то ласкает его, и он повторяет: «Целую твои маленькие ножки». И сердце, как аппарат, выстукивает то же самое. То ему кажется, что не даёт встать и идти телеграфная лента: она обвивает все его тело, добирается от ног до шеи и душит, и тянет все к тому же черному крюку на стене...

# Натурщица

## Из записок художника

### I

Старые художники говорят, что прежде чаще встречалось женское тело стройное, как мелодия, но, вероятно, под влиянием уродливой городской жизни и мод красота вырождается, как лишённые свободы цветы.

Совершённую натурщицу так же трудно найти, как жар-птицу. Ведь, в натурщицы идут не по призванию, а больше всего из-за нужды. Ну, а нищета мало способствует сохранению и поддержанию красоты, а если такая красота и имеется, — она, по лёгкости наших нравов, находит более выгодный заработок, чем позирование у художника.

В последнее время объявились особы, под видом натурщиц расхваливающие в газетах свои идеальные формы. Ясно, с какой целью делаются подобные объявления. Настоящая натурщица никогда не прибегает таким средствам, точно так же, как никакой художник не соблазнится такой объявительницей, да и не было случая, чтобы такая особа пришла на

объявление художника, ищущего натурщицу.

В последний раз нам необыкновенно повезло: по объявлению явились сразу две натурщицы, обе молодые и, насколько можно было угадать их в бедных их платьях, обе были недурно сложены.

Первой явилась худощавая еврейка, очень бойкая, с большим, очевидно, всегда готовым к смеху ртом и беспокойными черными глазами; что-то вроде неудавшейся швейки или цветочницы.

Она сказала, что уже позировала не раз.

Вторая — русская, темноволосая, с серыми, пугливыми глазами, лихорадочно и несколько болезненно блестящими.

Несмотря на то, что было уже начало мая, на голове её белела старенькая теплая вязаная шапочка, а бедное платье скрывалось под дешёвым серым пальто, которое, очевидно, она носила и зимою.

Эта нравилась больше, но отдать ей предпочтение так вот сразу было неловко, да и несправедливо.

Предложить им раздеться и отказать той, которая окажется менее подходящей, на это



как-то не решались: мы были ещё слишком молоды, чтобы видеть в натурщице только модель и совершенно игнорировать человека.

Но наше коллективное рисование предполагалось надолго, и, пошептавшись, пришли к тому, что лучше всего устроить им очередь.

Волошин, самый молодой из нас, обратился к конкуренткам:

— Кто вытянет узелок, будет позировать с нынешнего дня в первую очередь.

И он весело протянул натурщицам кончики платка, точно заячьи уши, торчавшие у него из сжатых в кулак пальцев.

Две руки не сразу взялись за платок: обе огрубевшие, истыканные иголками, с небрежно обрезанными ногтями.

Я заметил, как рука второй дрожала, и прежде, чем она несмело коснулась платка, еврейка дёрнула и вытянула узелок.

— Я-таки да, знала! — весело воскликнула она с резким акцентом. — Мене всегда везёт.

И с торжеством взглянула на конкурентку. Та стояла, опустив руки, и ресницы её заметно вздрагивали.

Произошло неувловимое, краткое замешательство.

Проницательный еврейский взгляд как-то изумлённо вспыхнул. Но это было лишь мгновение; вслед за тем взгляд этот странно просветлел, и она, как бы спохватившись, хлопнула себя по бёдрам:

— Вот так! Я и забыла, что я нынче — нет, не могу позировать.

Ресницы другой опять вздрогнули, и недоверчивый взгляд её обратился в сторону соперницы.

Еврейка, как бы перед нами извиняясь, быстро-быстро сыпала словами:

— Это-таки все равно. Мы поменяемся... — она запнулась, затрудняясь творительным падежом слова «очередь», — очередьями. — Тут же со смехом поправилась: — Очередью-ми! — и тряхнула головой. — Вы будете нынче позировать, а я — следующим разом.

И не допуская со стороны той никаких возражений, стала уславливаться с нами самым деловым образом относительно платы, дня и часа.

Другая стояла смущённая и, когда та пода-

ла ей на прощанье руку, сильно покраснела и простилась, не поднимая глаз.

Волошин преувеличенно-бодро обратился к натурщице:

— Ну-с, так будем раздеваться.

Он подбросил уголь в железную печь, от которой шло сухое тепло.

— Хоть теперь и весна, а все-таки вам веселее будет позировать около печки. Вот вам ширма, — указал он в уголок мастерской, где скрывался отлив. — Пожалуйста.

Она торопливо и покорно двинулась туда и спряталась за маленькой ширмой, а мы занялись приготовлением бумаг и угля для рисования.

За ширмой слышалось лёгкое движение и шорох. Голова её раза два поднималась и опускалась над ширмой, точно она тонула и выныривала.

Уж по одному тому, как она долго раздевалась, видно было, что натурщица неопытная.

Вот опять появилась над ширмой голова, и осветилось голое плечо. Почти испуганный взгляд вопросительно обратился на нас.

Но в эту минуту прислуга внесла самовар.

Плечо и голова мгновенно нырнули вниз и скрылись.

## II

Как бы художник ни привык, в первом моменте появления перед глазами обнажённой натурщицы всегда есть своя острота, — то почувственное волнение, которое не может не сказываться и в работе. Не говоря о том, что красивую натуру приятнее рисовать, несомненно и то, что при этом с большим упорством и охотой преодолеваются все тонкости рисунка живого тела.

И вот, когда, наконец, она появилась из-за ширмы, мы едва не ахнули от восторга.

За какие-нибудь полчаса до того перед нами стояла бедно-одетая, смущённая девушка, которую плохой костюм делал банальной и жалкой. И естественно, сам собою напрашивался тогда вопрос: кто она? Каково её положение, профессия?

Теперь, нагая, она могла спорить своей красотой с королевой, и мы жадно следили за каждым переливом её тела, в то время, как она торопливо и как-то боком подвигалась к софе, стоявшей возле печки.

— Bravo! — сорвалось одобрительное восклицание у Волошина.

— Да, это, действительно, — подхватил Троцкий — Настоящая Венера Медицейская.

— Пода ты с твоей Венерой. Мертвечина твоя Венера и больше ничего.

В самом деле, казалось, не только тело, но и лицо её, также заурядное раньше, стало прекрасным, когда она сбросила платье. Темные, красивые волосы получили при этом особый блеск и силу. Но что было всего удивительнее, так это то, что тон её лица оказался одинаковым с тоном её тела: это был теплый тон слоновой кости, как бы отшлифованный на плечах и ногах и чуть-чуть тронутый местами розовым.

Молчаливый Степанов, никогда не выражавший своих восторгов не то по застенчивости, не то по своему презрению к словам, отрывисто заметил:

— Вместо того, чтобы разливаться в пустословии, вы нарисуйте.

И с деловым видом он попросил натурщицу стать на диван, как можно свободнее.

Она поспешно встала, стараясь поборот

свой стыд и неловкость, и дрожь, мелкую дрожь, от которой вибрировало все её тело.

— Вам холодно, что ли? — спросил он её с обычной суровостью, в которой, однако сказалось, прежде всего, товарищеское внимание и сочувствие.

— Нет, это так, — поспешила ответить она еле слышно, и голос её при этом вибрировал, как и её тело.

Едва успела она встать на софе, как художники один за другим воскликнули:

— Именно так останьтесь! Так хорошо.

— Да, лучше не надо. Чудесно!

Поспешно схватились за карандаши и угли и впились глазами в эти переливающиеся изгибы линий, которые в самом деле, являлись чудом. Так ясно всем было в эту минуту, что ничего в мире не могло быть благороднее человеческого тела, когда оно воистину красиво.

Она застыла неподвижно, но и в этой неподвижности была жизнь и трепет, которые нас очаровывали. Даже самый солидный из товарищей, художник Локтев, прозванный за свою внушительность и серьёзность про-

фессором, лёгкими, верными линиями набрасывая рисунок, не мог сдержать своего восхищения.

— Воистину, Божий цветок. Ведь, пошлёт же Господь такое богатство человеку!

— Именно богатство, — подтвердил Волошин. — Это — прямо бесценный подарок природы.

Восторгались, почти не обращая внимания на то, как она сама относится к этому, точно перед нами был действительно цветок, художественное создание природы, которому или должны быть чужды слова, или он выше их.

### III

Но работа мало-помалу захватила всех, и слова иссякли.

Сквозь закрытые ставни шум города доносился смягчёнными и неравномерными приливами. В то время, когда он стихал, слышно было сначала бурливое, а затем все более сдержанное, меланхолическое кипение самовара да шорох и как бы лёгкое посвистывание угля о бумагу. Изредка кто-нибудь вздыхал, бормотал что-то про себя или довольно, а то досадливо крякал.

Но вот взгляд стал замечать, как постепенно слабеет упругость её мышц, и заметно было, как линии её тела теряют свою лёгкость и певучесть.

Мы работали мало. Если она так скоро утомилась, — ясно, что это — неопытная натурщица.

— Вы, видимо, устали? — обратился я к ней.

Но она не хотела в этом сознаться.

— Нет, я ещё могу постоять.

— Так, пожалуйста.

Трудно было оторваться от работы. И опять зашуршали по бумаге угли и карандаши.

Она крепилась, но с каждым мгновением ей приходилось все больше и больше напрягать свои силы.

Тут возвысил голос Степанов.

— Я прошу, постарайтесь ещё хоть пять минут. Не более пяти минут, — бормотал он, почти не отрывая от бумаги послушного угля.

Видно было, как она перевела дух, собрала последние усилия, последние, и вытянулась.

Прошла минута... другая...



И вдруг тело её заколебалось.

Все вскочили с мест. Степанов крикнул:  
— Довольно! — и бросился к натурщице.

Она совсем без сил опустилась на диван, тяжело дыша, с побелевшими губами. Голова её упала на грудь, руки мертвенно опустились.

— Да ей дурно.

Волошин бросился, чтобы налить воды.

Степанов, растерянно разведя руками, стоял около неё, смущённо повторяя с виноватым видом:

— Но, чёрт возьми... Но, чёрт возьми, ведь, она стояла не более двадцати минут. Не более двадцати минут. Я сам заметил часы.

Она очнулась и слабо пыталась успокоить нас. Еле шевеля губами, она говорила:

— Нет, нет, ничего, ничего. Это так. Это пройдёт. Я буду потом позировать дольше.

И она дрожащей рукой старалась прикрыть наготу своим стареньким серым пальто, которое валялось тут же на софе.

И едва прикрыла, опять из чудесного Божия создания, которое могло спорить дарованным ей милостью Неба богатством с коро-

левой, превратилась в бледную, жалкую девушку, с побледневшим, смущённым лицом и испуганными глазами.

Тогда мне вдруг вспомнились первые минуты её в нашей мастерской: конкурентка-еврейка, жребий на узелки и внезапный, показавшийся тогда непонятным, отказ соперницы, больше похожий на великодушную уступку.

Прежде чем Волошин успел ей подать холодную воду, я налил стакан чаю, положил в него сахар и подал ей вместе с бутербродом.

— Может быть, вы не откажетесь.

Она сделала торопливое движение к хлебу с маслом и колбасой, но тут же ей стало стыдно этого движения.

И, порывисто дыша, опустив свои длинные ресницы, как бы нехотя принимая дрожащими от голодной слабости руками, прежде всею, хлеб, а затем чай, она еле слышно проворботала:

— Да, пожалуй; благодарю вас.

# Изобретательность

## I

Целый день приказчик большого мануфактурного магазина Бурлюкин-Сыновья томился, как отравленный: в то время, как нынче должно было произойти это роковое событие, он не мог и не смел покинуть магазин: большинство служащих ушли на войну и, как на грех, именно сегодня заболел старший приказчик, обязанность которого должен был исполнять Павел Васильевич.

А время было горячее, предпраздничное. Хотя, вообще говоря, с самого начала войны на глазах Павла Васильевича происходило что-то несуразное, никогда ещё торговля не шла так оживлённо, можно сказать, бурно и даже, чем больше разгоралась война, чем страшнее лилась кровь, чем дороже становилась жизнь, тем больше разгоралась торговля. Женщины с утра до ночи приливали в магазин и отливали, шумя и кипя, как волны во время прибоя.

Магазину были отлично известны большинство клиенток, но сверх этого большин-

ства явились новые, никогда невиданные, которые совсем их затопили.

Мануфактура Бурлюкина, бывшая накануне краха перед войною, с каждым днём все больше расцветала. Не было такой старой негодной залежи, которая не вырывалась бы теперь покупателем с бою; очевидно, многие богатели на счет этой беспрерывно льющейся крови, в то время, как бедняки задыхались от дороговизны всего насущного и от страшных лишений. Приходилось или пускаться на преступления, чтобы как-нибудь поддержать существование, или на разные ухищрения, часто выходившие за пределы самой дикой фантазии.

## II

В течение семилетней супружеской жизни у Павла Васильевича не было детей. А между тем, и он, и жена его были люди одинокие и притом патриархальные. И когда, наконец, после такого долгого ожидания жена Павла Васильевича забеременела, оба до такой степени были обрадованы своим счастьем, что даже отслужили молебен.

Все их мечты, все разговоры покоились те-

перь на будущем, с которым должна была начаться новая и уже как бы бессмертная жизнь. Но по мере того, как приближался роковой день, непонятная тревога и беспокойство вое больше и больше проникали в их ожидания.

Конечно, это была обычная в таком случае тревога, но иногда она становилась особенно остра и колола, как предчувствие. Обоих по ночам тревожили странные сны, но они боялись сообщать их друг другу и все таили про себя, пока беда не подошла вплотную.

Когда Ольга Ивановна незадолго до события, обратилась к врачу, тот посоветовал ей лечь в больницу, так как мало ли что может быть: первые роды, да и положение ребёнка представляется ему не совсем правильным.

Это был скорее совет осторожности, чем угроза, и оба сделали вид, что так это и принимают, но втайне трепетали до ужаса.

И нынче этот ужас оправдался.

Ещё утром Павел Васильевич узнал, что надежда на ребёнка, которого так долго и так молитвенно они ожидали, рухнула: доктор прямо заявить, что положение ребёнка на-

столько неестественно, что спасти его можно только ценою жизни матери. Конечно, не приходилось задумываться, но мучения Павла Васильевича были так велики при этом, что ему показалось, будто из души его ушел тот слабо теплившийся свет, который придавал его жизни особый праздничный смысл.

Доктор попытался внушить ему, что при их молодости надежды на ребёнка ещё могут осуществиться, но Павел Васильевич уже не верил в это, и даже боялся утешать себя тем, что все же останется жива его жена, как будто в самом этом утешении таилась колкая вина за неоправданную жизнь.

### III

Однако, несмотря на все эти мучения, доводившие Павла Васильевича до отчаяния, он в магазине аккуратно и точно исполнял своё дело. Из двух существ в человеке одно, вымуштрованное долгом и многолетней привычкой, делало то, что требовалось, а другое было там, где решалась судьба неосуществившейся жизни. Там были все его мысли, вся его душа, все, что составляет истинную сущность человека. Но это первое существо не только не ме-

шало второму, а как будто облегчало его жестокое состояние; отвлекало от безнадежности и безысходной муки. Ведь, все равно, он ничем не мог помочь там, да его и не допустили бы до жены.

Как раз перед самым закрытием магазина, он узнал, что все окончилось так, как предсказывал доктор. Это уже не могло ничего прибавить к тому, что Павел Васильевич переживал, и с опустелым сердцем он отправился в больницу.

Но когда, по особой просьбе, его, переодетого в белый халат, допустили к жене, он ощутил новую светлую радость, увидев её живой, хотя и изменившейся до того, что трудно было её узнать.

И эта перемена в ней заключалась не в том, что она похудела и обескровела, и что её пышные красивые волосы гладко и безжизненно темнели вокруг лица, как чужие, влажными бедными прядями приликая ко лбу и вискам, — а в чем-то ином, более важном.

И когда она обратила на него взгляд своих усталых и как бы поблекших глаз, он почувствовал, что их соединяло теперь что-то но-

вое, что, хотя и не жило на свете, но уже составляло для обоих драгоценное и важное прошлое.

И по тому, как она поглядела на него, и ещё больше по тому, как в глазах её заблестели мутноватые слезы, он понял, что она уже все знает, но что для неё так же, как и для него, со смертью ребёнка умерло далеко не все, что они от него ожидали.

Полная акушерка, похожая и своими движениями, и своим лицом, покрытым черными точечками, на переодетого в белый халат побрившегося солдата, предупредила его, чтобы он не очень волновал больную. Но он и без того боялся ступить и шевельнуть рукой, чтобы не нарушить покой её, и ему было очень обидно, что вокруг до этого не было никому никакого дела. В коридорах, через которые проходил он, было неряшливо и шумно и эту неряшливость особенно придавали будущие роженицы, которые без всякого стеснения, чуть не в одних рубашках, попадались ему на глаза с своими неестественно выпяченными животами и какими-то растрёпанными движениями; они громко разговарива-



ли и даже бранились между собою, и в этом сказывалось оскорбительное неуважение к почти священному месту, где появлялись на свет новые жизни.

Еле сдерживая робкий и жуткий трепет, проникавший все его тело, Павел Васильевич присел на стул у изголовья жены и долго не мог произнести ни слова, а только смотрел умоляюще на её некрасивое, но ещё более дорогое, чем раньше, лицо, на эти полные слез, как бы виноватые глаза, на дрожащие утончившиеся губы, которые хотели раскрываться, чтобы сказать что-то, но не могли.

— Ничего, ничего, — забормотал он, наконец, как бы предупреждая успокоительно все, что она могла сказать ему. — Ничего — Бог даст...

Он хотел прибавить то, что для его ободрения сказал ему доктор: что Бог даст, — будет ещё ребёнок, но сам не зная, почему, не сказал. Она и без того понимала его.

Слезы выкатились у неё из глаз, где стояли выпуклыми светящимися озерками и крупными каплями скатились на выдавшиеся скулы и на виски. Но ресницы, слипшиеся

от влаги, даже не шевельнулись.

Медленно выпростала она из-под одеда особенно побелевшую слабую руку, и он уже хотел взять её, но из осторожности удержался, и наклонившись, коснулся этой сухой и хрупкой руки губами.

И в то время, как он наклонил к ней свою голову, услышал шепот её:

— Хоть бы посмотреть дали... И не видела, как унесли...

— Ну, что уж там. Ведь мёртвый, — ответил он также шепотом.

— Все-таки...

Она не договорила; лицо её перекосилось, и щеки сразу стали мокрыми.

— Ты сейчас же пойдн, найди его, — продолжала она с серьёзным и строгим лицом. — Похорони сам. Хорошо похорони, как будто бы он жил. Мы будем на могилку ходить. Будем звать Колечкой.

Она уже еле договорила последние слова и замолчала, полузакрыв от слабости глаза, и черты лица её стали так симметрично правильны, как никогда не бывали раньше.

Он сразу понял её и почувствовал всю зна-

чительность того, что она сказала. И стало как-то не по себе от того, что это ему самому не приходило в голову.

— Да, да, — поспешил он ответить, — непременно сейчас же пойду и возьму.

И его даже охватила боязнь, как бы не опоздать. Ведь уже прошло несколько часов, как унесли ребёнка.

И когда акушерка объявила ему, что пора уходить, так как больная явно устала, он без возражения поднялся, благословил жену и вышел, осторожно пятясь к двери и видя, как его провожают, устало скашиваясь в его сторону, большие зрачки помутневших глаз, запавших в синие круги.

Маленькая, вертлявая, худенькая сиделка, с птичьим носиком, встретила его у двери ободрительным щебетаньем:

— Все будет хорошо. Не пройдёт и недели, как больная окрепнет. Уж вы можете быть спокойны, я за ней так слежу, так слежу...

Он достал из кармана рубль и сунул ей. Не дав времени поблагодарить, спросил её: где его мёртвый ребёнок?

Она суетливо и услужливо стала объяс-

нять ему как пройти в мертвецкую и найти сторожа.

Мертвецкая, сторож...

Эти слова холодно прилипли к его памяти.

#### IV

Было темно и ветрено. Больничная суета, безобразные женщины с выпяченными животами и она, такая бледная и страшно новая и родная, остались там. Здесь неприветливо и буднично темнели стены больничных фасадов. Холодными пятнами светились электрические лампочки и холодными огнями мерцали в небе звезды.

Ему вдруг стало сиротливо и невыразимо грустно; жаль жену и себя, и что-то ещё более дорогое. Слезы сами собой полились из глаз.

Огни звёзд и фонарей дрожали и расплывались сквозь эти слезы, и фигура служащего, который шагал с каким-то узлом навстречу, показалась тенью.

Он шел, как ему было сказано, и в углу больничного двора набрёл на темное небольшое здание, похожее на сторожку, — откуда только что вышел сутуловатый, неряшливо одетый человек, глухо покашливая.

В опущенной руке его темнело большое ведро.

Павел Васильевич вытер застывшие на глазах слезы и спросил:

— Вы не из мертвецкой ли?

Тот, отплёвываясь, ответил:

— А то откуда же?

Павел Васильевич на этот грубый, странный ответ, продолжал смущённо:

— Так вот мне надо...

— Насчёт бабы что ли?..

— Нет, ребёночка.

Опущенная голова сторожа поднялась, и в темноте, которая окружала это мрачное место, больше даже, чем все другие больничные постройки, Павлу Васильевичу определилось измождённое худое лицо, с криво растущей редкой белесой бородой и, как ему показалось, косыми глазами.

Эти глаза вглядывались в него как-то сбоку, и ответ последовал не сразу.

— Никакого ребёночка там нету. Баба там одна. А больше никого нету, — ворчливо заключил он, совсем отводя в сторону глаза.

Павел Васильевич испугался.

Но сторож не уходил. Наоборот, он поставил ведро, как-то умышленно позади себя и стоял выжидательно.

Павла Васильевича охватило страшное подозрение. Он покосился на ведро и дрожащим голосом заговорил:

— Как же нет ребёночка? Ведь мне сказали, что он здесь. В мертвецкой...

— Ну, здесь... Здесь мертвецкая, точно.

— Так вот, где же он? Ребёночек? — Павел Васильевич все больше и больше начинал волноваться. — Я его отец.

— Где... где... Надо было раньше приходить.

— Да когда же раньше? Что вы такое говорите?

— А вот и раньше.

— Что же это такое! Я сейчас пойду в контору и все узнаю, коли так...

И уж Павел Васильевич повернулся и торопливо сделал несколько шагов, как услышал за собой встревоженный голос, который ещё более усугубил его странное подозрение:

— Зачем в контору?! Идите уж сюда.

Павел Васильевич остановился, оглянулся.

Тогда сторож взял ведро, отставил его к

стене.

— В контору... в контору... — укоризненно заворчал он, покачивая головой. — Конторе что! Она выдаст рупь на гроб, да и довольно. Справляйся, как знаешь. А теперь дерево дороже хлеба. Где его возьмёшь за рупь, хоть и для такого, для молоденца.

Павел Васильевич задрожал и вне себя, холодея и заикаясь бросился к сторожу.

— Так значит... значит... Что же это такое! Что у тебя в ведре? Что?

Сторож никак не ожидал этого. Он сам заволновался и сдавленным шепотом остановил взволнованного отца:

— Господь с тобой, что ты... Что я, басурман, что ли! Он хоть и не крещёный, хоть и мертворождённый, а все же дитя человеческая.

Сторож с осторожностью оглянулся вокруг и коснувшись рукава Павла Васильевича, примирительно позвал:

— Пойдём, что ль.

Сторож открыл дверь и вступил в маленькие темные сени, где фигура его совсем потерялась и тем неприятнее слышался ворчли-

вый, хрипловатый голос:

— Нешто я виноват! Жить нечем. Жалованья восемнадцать рублей. А тут семья сам пят. Прямо, хоть дохни от голода. Для ради экономии чего не сделаешь.

Эти слова не предвещали ничего доброго.

— А что же, все-таки, у тебя там, в ведре?

— Что в ведре? Нутренности, — просто ответил сторож. — А то как же бы я?..

Он отворил следующею дверь в покой, где было темно. И, несмотря на то, что сторож прикрыл за собой входную дверь, Павел Васильевич поёжился от холода, более неприятного, тяжелого и вьедчивого, чем холод снаружи.

Сторож чиркнул спичку, продолжая бормотать:

— Спички три копейки коробок. Виданое ли дело!

Пламя от спички перешло на свечу в высоком церковном подсвечнике и несколько мгновений мерцало тусклым глазком пока не распустилось ярче.

Посреди небольшой пустой комнаты с каменным полом на столе стоял черный гроб,



большой. Другого, маленького не было.

Павел Васильевич недоуменно посмотрел на сторожа и только тут увидел, что один глаз у него кривой.

— А где же?..

Сторож мигнул здоровым глазом на гроб.

— Да тут же.

— В одном, значит, гробу?

— Вроде того.

С боязливым любопытством Павел Васильевич заглянул в гроб, увидел оплывшее, точно из воска, женское лицо и длинное тело в белом. Больше никого.

Неприятно едкий, терпкий запах окружал гроб.

— Но в гробу нет.

— Знамо нет. Покойница, царство ей небесное, и то еле уместилась. Притом же муж придёт её хоронить. Никак нельзя было иначе уложить. А тут и ему невдомёк и дите удобно.

Он полез в карман, достал ножик и бурчливо сказал:

— Вот теперь опять работа. Только зашил, пороть надо.

Подошёл к гробу, раскрыл саван.

Павел Васильевич внезапно почувствовал, как весь тлетворный холод, собравшийся в мертвецкой, перелился внутрь его. Стало тошно и голова закружилась до того, что он, боясь упасть, прислонился к стене.

И пока сторож делал своё дело, он не мог ни помешать ему, ни остановить его, а только бессильно бормотал: «Господи, да что же это такое!.. Господи!..»

Хотел уйти и тоже не мог.

И в то время, как до него доносился, как будто из какой-то темной, зияющей ямы равнодушный глухой голос сторожа, по-видимому окончившего своё дело, он все продолжал бормотать эти слова. Теперь уже ничего того, о чем просила жена и чего он тоже хотел, было не нужно, и сам он как бы неудержимо падал в эту отвратительную, мрачную яму.

# Трус

## I

Известный в городе присяжный поверенный Звягин очень любил праздник Пасхи.

— Это мне напоминает детство, — сентиментально говорил он, и так сам себя уверил, что в пасхальную субботу таскал детей к заутрени, хоть они больше тянулись к своим постелям, чем к церкви, сияющей огнями.

— И зачем только трепать здоровье и нервы детей? — протестовала жена.

Звягин презрительно отвечал на это:

— Видите ли, мадам... — он всегда так обращался к жене, когда они были не в ладах. — Если у вас нет в душе намёка на поэзию, не отнимайте её у других. Я хочу, чтобы дети впитали в себя одно из самых трогательных впечатлений.

И он не только вёз их к заутрени, но и заставлял после заутрени разговляться, хотя бы те падали от сна.

И в эту пасхальную субботу Звягин решил

проделать то же самое. Полночная толкотня с жандармами и полицией около церкви, куда допускались только избранные, да и духота и давка в самой церкви давно уже не пленяли его. Но он не хотел ни за что сознаться себе в этом и продолжал поступать по традиции.

По традиции же к Пасхе пеклось, жарилось и варилось то, что полагается, и большой стол, уставленный куличами, окороками, поросятами и пасхами, украшался цветущими растениями.

И вдруг, уже в сумерки, Звягин узнает, что цветы-то нынче и забыли заказать.

Он возмутился:

— Это чёрт знает, что такое! Если сам не распорядишься, никто даже о таких вещах не подумает.

— Ах, у меня и без того голова кругом идёт, — недовольно отозвалась жена. — Все в доме с ног сбились: одно не дошло, другое подгорело; столько беспокойств и единственно из-за твоей блажи.

Звягин огорчённо вздохнул и почти безнадежно махнул рукой. Он давно уже примирился с тем, что женился не совсем счастли-

во: жена его была особа, как она сама о себе любила выражаться, практическая, положительная и без всяких кислых предрассудков.

Но достаточно ему было заикнуться об этом недостатке её, как следовал язвительный ответ:

— Ну, ты с избытком получаешь эту поэзию на стороне.

Приходилось поневоле умолкать, потому что он раза два неосторожно влопался перед ней самым неприятным образом.

Так или иначе, с поэтической стороны Звягин имел полное основание считать себя непонятым и одиноким. И все же, перебирая свой, как он мысленно определял, синодик, решительно недоумевал, на ком бы из всех женщин, с которыми был близок, он остановился. У одних были одни недостатки, у других — другие. Жена, по крайней мере, была верна ему и, как мать, не оставляла желать лучшего, а, главное, она была, хотя и несколько обидно-насмешливо, снисходительна к его грешкам, и это представляло значительное удобство.

Вот у его товарища Вилковского жена так

адски нетерпима в подобных обстоятельствах, что при малейшем намёке на ревность отравляется, и её за шесть лет супружеской жизни уже одиннадцать раз спасали от самоубийства. Это в конце концов оказывалось безопасно, но уж очень беспокоило. А со стороны спокойствия Звягину за своей женой жилось, как за каменной горой. Да и капиталец за ней он взял порядочный.

Из всех, кого он вспоминал, одна ещё несколько останавливала его внимание, но, во-первых, роман с ней у него был очень давно и, может быть, только потому она и представлялась ему необыкновенно привлекательной. Затем, он как-то слышал, что она пошла по торной дорожке. Это известие произвело на него столь неприятное впечатление, что, на днях, мельком увидев проехавшую на извозчике вызывающе одетую особу, он принял её за ту и чуть не закричал не то от изумления, не то от испуга.

Но он знал, что та давно уже исчезла из родного города. Конечно, она могла вернуться, но этому почему-то не хотелось верить и особенно не хотелось верить тому, что она

действительно стала такой.

## II

Цветы были заказаны.

Он вышел из магазина, где так пахло землёй и цветочными ароматами, что становилось душно, и теперь вздохнул с особенным чувством и оглянулся во все стороны.

На западе небо было нежно-сиреневое, и почему-то казалось, что именно оттуда улыбается всей земле, и городу, и морю ранняя весна.

Эта улыбка таилась и в уличном движении, оттого и самому хотелось двигаться и даже дышать как-то по-весеннему.

Уже вспыхнули электрические огни, но свет их ещё ничего не озарял. Сумерки покрывали тенью только западную половину неба над морем. Взгляд рассеянно скользил от бледно-алых облаков к домам с выставленными к празднику рамами и к людям. Везде чувствовался уют, и Звягину приятно было сознавать, что у него ещё больше, чем у многих, сказывается этот уют и сияние Светлого праздника.

Но особенно почему-то привлекали женщины. В этот предпраздничный весенний день, они все казались необыкновенно оживлёнными, лёгкими и близкими.

У одной из них, шедшей впереди, Звягин заметил маленький беспорядок в костюме: кончик белой тесемки, выступавшей из-под короткой, изысканно модной и странно-знакомой, кофточки. Белая тесемка шла откуда-то изнутри туалета, в общем не только изящного, но даже подчёркнуто изысканного.

Эта мелочь до того непонятно его беспокоила, что хотелось подойти к ней и, извинившись, шепнуть об этом. Готовая фраза так назойливо просилась на язык, что Звягин с трудом её удерживал. Будь помоложе, он непременно отважился бы на эту несколько рискованную выходку, сейчас же только хотелось взглянуть ей в лицо и продолжать путь.

Но едва он поравнялся с ней и увидел ещё свежие, для чего-то напудренные, щеки, вздрогнуло сердце и захотелось броситься в сторону.

Это была она, несомненно она, и теперь уже стало ясно, что на извозчике на днях он



мельком видел именно её.

Но вместо того, чтобы бежать, Звягин остановился, глядя на неё во все глаза.

Она испуганно отшатнулась, но, взглянув на него чуть-чуть подведёнными глазами, чего-то испугалась ещё более, покраснела и, растерянная, не менее чем он, опустила ресницы.

И тут, назойливо просившаяся ему на язык, фраза сорвалась как-то сама собой:

— Извините, у вас маленький беспорядок: кончик белой тесемки...

Она машинально и торопливо сделала невольное движение рукою вокруг талии, и кончик белой тесемки исчез.

Это было неожиданное и нелепое при такой встрече вступление, но оно дало им возможность несколько очнуться. Испуг уступил растерянности, с которой они глядели теперь друг другу в глаза.

— Вы остались все такая же, — сказал он, наконец, со странной улыбкой и задержал в своей руке её руку, которая чуть-чуть дрожала.

— Что вы! Куда уж такая.

— Нет, я не о том...

Она догадалась, жалко улыбнулась: поняла, что он вспомнил, как всегда подшучивал над неисправностью её туалета.

— Ах, вы вот о чем! — сказала она печально, опуская глаза, и лицо её стало бледным.

Оба в волнении молчали, не зная о чем говорить дальше; она тихонько освободила из его рук свою и пошла, видимо, не уверенная, последует ли он за ней.

Но он не мог так расстаться с ней после того, как они не виделись более десятка лет; тянуло узнать, как она жила эти годы и чем жила.

Нехорошие слухи об её жизни подтверждались отчасти этими подведёнными глазами, этой пудрой, покрывавшей лицо и почему-то особенно заметной на носу и подбородке, и ещё чем-то неуловимым, но обличительным, что сказывалось в её костюме и, может быть, даже в выражении все ещё красивого, чуть-чуть начинающего блекнуть, лица.

— Ведь вот какая странная встреча, — сказал он, ступая не в ногу рядом с нею.

— Почему странная? — ответила она, из-

бегая глядеть на него. — Я знала, что вы здесь, и даже...

Она нерешительно приостановилась.

— И даже? — повторил он, побуждая её докончить начатое.

— ...Я видела вас раза два. Да, именно два. Один раз в театре, другой раз на улице, но вы...

— Что я? Договаривайте.

— Вы сделали вид, что не узнаете меня.

Он с искренней горячностью стал убеждать её, что это неправда. И рассказал о том, как лишь раз мельком её увидел, но сомневался.

Она, как будто не слушая его, продолжала своё:

— Ещё в театре, это я понимаю, вы были с женой. Но на улице...

— Да нет же. Клянусь вам, нет. Будь я тысячу раз с женой, я не имел основания не поклониться вам.

Она взволнованно раскрыла свою сумочку, достала надушённый платок, торопливым движением стерла пудру с лица.

— О, таким, как я, кланяются только в су-

мерки и без свидетелей, — заявила она уже с горьким раздражением, и тем окончательно рассеяла последние сомнения относительно справедливости нехороших слухов.

Однако, у него не хватило духу принять это сознание с такой же искренностью, с какой оно было сделано, и он с фальшивым удивлением ответил:

— Такой, как вы! Не знаю, о чем вы говорите, но для меня вы все такая же, как были раньше.

Она отлично поняла эту фальшь и нервно закачала головой.

— Ах, не говорите, не говорите неправду. Вы знаете, видите, какой я стала...

У неё почти истерически задрожал голос, и эта мучительная дрожь голоса была также характерна в её положении.

У него не хватило духу продолжать при творство.

Она, не глядя на него, прибавила шагу, точно стараясь от него уйти или давая таким образом ему возможность незаметно отстать.

Но Звягину было как-то не по себе: теснила потребность в чем-то оправдаться перед нею

и перед самим собою.

— Вера, вы сердитесь на меня? — нерешительно, мальчишески вырвалось у него.

Она обернулась и, как ему показалось, с некоторым пренебрежением на него взглянула. Сказала как-то монотонно холодно:

— Вот вы, действительно, не переменились, все такой же. И это поважнее моих туалетных промахов.

Она, конечно, говорила тоже не об его наружности. Он понял, о чем она говорила, и как-то неловко съёжился.

### III

Это было двенадцать, нет, тринадцать лет тому назад.

Он жил на приморской даче на уроке и готовился к государственному экзамену с таким усердием, что зубы скрипели от напряжения.

Особенно трудно было заниматься потому, что сияла полная весна, и море, и земля, и небо как будто справляли страстную свадьбу.

По временам, когда голова вспухала от науки, он бросал на несколько минут лекции и бежал к морю, чтобы вздохнуть и осветить

морской синью и ширью глаза, в которых рябило от черных строк и параграфов.

Так было и тогда.

Он даже не надевал своей студенческой фуражки, отрываясь от книг: только на минуту освежить голову и взгляд, и — опять к книгам.

Устало сошёл он вниз к морю и остановился на невысоком обрыве, у развалин.

За его спиной закатывалось солнце, а прямо перед глазами развёртывалось широко и ясно море.

Был такой светлый покой и тишина, что золотисто-розовые от заката облака отражались в море неподвижно алыми столбами, рыбачьи лодки вдали скользили, как паучки.

Большой пароход взял курс на Константинополь и неосвещённый борт его был почти черен, в то время как освещённый сиял кованым золотом.

Вдруг он услышал плеск внизу. Сначала ничего не понял, потом взглянул и обмер.

В нескольких шагах от безлюдного песчаного берега, лицом к нему, стояла, немного больше, чем по колено, в воде девушка. Она

сняла с себя купальную рубашку и стояла в воде совсем нагая, и вода была так прозрачна вокруг, что стройные ноги её на каменистом дне были видны ему сверху до самых пальцев.

Та прибрежная полоса воды, в которой она стояла, находилась в тени, падавшей на воду от обрыва; вода розовела и золотилась дальше за линией тени, но все её поразительно красивое тело, блестящее от воды, было такого тёплого тона, что, казалось, оно уже успело впитать в себя всю золотистую теплоту заката.

Девушке было не менее семнадцати-восемнадцати лет, судя по её определившимся формам, но она забавлялась в своём одиночестве, как ребёнок. Связав рукава и зажав в руках края своей белой рубашки, она сделала из неё таким образом что-то вроде пузыря и пыталась сесть верхом на этого импровизированного коня, но это ей никак не удавалось.

Едва она перебрасывала через пузырь лёгкую стройную ногу, как соскальзывала на сторону, сама смеялась над неудачей, но продолжала свою забавную игру, поворачиваясь

к остоленевшему студенту то лицом, то спиной, не подозревая того, что открывает перед ним все изгибы своей чистой весенней красоты.

Он узнал в ней соседку по даче, барышню, кончавшую в этом году гимназию. Даже её учебники валялись тут же на песке, рядом с её форменным платьем.

Но то была обыкновенная барышня гимназистка, на которую он не обращал внимания, а теперь перед ним двигалось светлое видение, почти божественное, по меньшей мере, сказочное по своей красоте.

Он не знал, долго ли длилось это видение: время ускользнуло от сознания, но он как-то сразу очнулся, испугавшись, что она, наконец, поднимет глаза и увидит его в нескольких шагах от себя, почти над собою. Испугался и, тихо пятясь, как вор, отошёл в сторону.

Сердце его то неистово колотилось, то замирало и дух захватывало до того, что трудно становилось дышать.

Он чувствовал себя почти, как пьяный, и, шатаясь, шел по тропинке среди холмов, сам не зная куда. Только не обратно к книгам.



Он шел быстрее с каждым шагом, как будто пытаясь убежать от наваждения.

Но оно неотступно стояло перед глазами, было в самом сердце, в крови. Он чувствовал себя охваченным им, как огнём.

Тогда он побежал изо всех сил, инстинктивно желая погасить этот огонь, и бежал до утомления, до того, что упал на пахучую дикую траву, задыхающийся и вспотевший.

Так пролежал он, пока не вернулись силы. Тогда его опять потянуло назад, хотя он не думал увидеть её такую же, как оставил.

Но, вернувшись, он уже не нашёл её. Берег был совсем пуст. Можно было бы, в самом деле, подумать, что это было лишь видение. Но на песке не успели ещё высохнуть следы её ног и, казалось, самая вода в ласковых намёках хранила отблески её красоты и продолжала чуть-чуть шевелиться, взволнованная её движениями.

Тогда он быстро разделся, стремительно бросился в эту воду и поплыл вдаль, рассекая своим сильным телом свежую упругость моря и плавно взмахивая своими мускулистыми руками.

Кажется, захоти — и он мог бы доплыть сейчас до самого горизонта, до тех лёгких парусов, которые вспыхнули, как лепестки цветов, от последних солнечных лучей.

## IV

После купанья, успокоенный и освежённый, он взбежал на обрыв и уже хотел повернуть на дорожку, ведущую к даче, закутанной густым пахучим цветом сирени, когда увидел, вытянувшуюся на траве, фигуру в гимназическом платье.

Облокотясь обеими руками на землю и оперев ладонями лицо, она смотрела в даль моря на эти розовые паруса, забыв раскрытую перед ней книгу. Простая соломенная шляпа лежала в стороне.

Он узнал её сразу, хотя платье опять превратило её в обыкновенное существо. Но заметная влажность волос, пушившихся на её, успевшей загореть, шее возвращала её к только что совершившейся сказке.

Его неудержимо потянуло прямо к ней.

Едва она слышала приближающиеся шаги, насторожилась, повела темными зрачка-

ми в его сторону, однако, не изменила позы, только сделала вид, что погружена в учебник и что ей никакого нет дела до проходящих бездельников.

Им овладело дерзкое желание во что бы то ни стало познакомиться с ней сию же минуту и, остановившись в двух шагах от неё, он поклонился ей, как знакомый.

Она чуть-чуть подняла ресницы, но сделала вид, что не заметила поклона.

Он поклонился снова и прибавил к поклону:

— Здравствуйте.

Ресницы поднялись немного больше, но и «здравствуйте» как будто прошло мимо её ушей.

Однако, он не упал духом и уж прямо обратился к ней тоном упрёка:

— Что же это такое, я кланяюсь вам и говорю: здравствуйте, а вы мне не отвечаете?!

Она притворно сурово шевельнула бровями и даже с недоумением повела плечами.

— Странно, — ответила она, не удостоивая его взглядом и точно в книге читая то, что произносили её губы. — Я вас не знаю, зна-

чит, и отвечать мне незачем.

— Ах, да, в самом деле, может быть и не знаете, хоть мы соседи. Это, действительно, непростительная оплошность с моей стороны. Позвольте представиться.

И он назвал своё имя, отчество и фамилию и даже прибавил, что он студент юридического факультета, вот-вот выдержит государственный экзамен.

— Это все равно, во всяком случае, мы с вами незнакомы.

— Незнакомы? — переспросил он, как бы не веря этому слову. — Вы сказали, незнакомы? Я не ослышался?

Она продолжала как бы читать по книге:

— Нет, не ослышались.

— Так вот и давайте познакомимся.

Она даже поднялась при этой дерзкой настойчивости. Теперь, уже сидя с раскрытой книгой на коленях, она ответила ему с сухим, как ей казалось, пренебрежением:

— Извините, я не привыкла знакомиться таким образом.

Но и это его не испугало.

— Вот как, — сказал он. — Таким образом.

Гм... Неужели бы что-нибудь изменилось, если бы мы познакомились где-нибудь в четырех стенах, а не в этом господнем храме, под небесным куполом и я не сам бы назвал вам себя, а меня назвал бы вам какой-нибудь почтенный плешивый олух, или толстая кретинка-дама.

У неё чуть-чуть дрогнули уголки губ, но она не оставляла своей суровости и опять притворилась читающей в книге то, что проносил её язык:

— Странно. Почему же непременно плешивый олух и толстая кретинка?

Он горячо ответил на это:

— Ну, хорошо, я согласен. Пусть не олух и не кретинка, хотя таких господь, хранителей всяких предрассудков, большинство. Ну, пусть будут достойнейшие люди, первый сорт люди, но разве и тогда что-нибудь изменится?

Она опять шевельнула плечами, с неопределённой гримасой поджала губы и потянулась рукой к шляпе.

Тогда он приблизился к ней на шаг и взглянул в книгу, уже как знакомый.

— Что это вы учите? А, Богослужение! И охота вам в такой удивительный час заниматься подобными пустяками.

Молчание. Она поднимается и хочет идти.

— Вы скажете: это не пустяки, а Богослужение, — фамильярно продолжает он за неё. — Но вокруг вас совершается, действительно, настоящее богослужение, а вы не обращаете на него никакого внимания. Взгляните на небо, в котором догорает заря, на траву, которая светится от неё, на эти облака и паруса, которые точно молятся Богу. А то, что вы учите, это риторика, схоластика, догматика...

Он бы, пожалуй, и дальше продолжал эту еретическую характеристику, но она уже была не в силах сдержать улыбку, которая пробивалась у неё сквозь напускную суровость с того самого мгновения, как он упомянул об олухах и кретинках.

— Да, да, довольно уж. Я знаю, что все студенты нигилисты, а вот, если я этой схоластики не выучу, мне влепят на выпускном экзамене кол.

— А, это другое дело, это правда. Мне вот тоже приходится учить много всякой ерунды,

чтобы сдать государственный экзамен.

Но она опять как будто испугалась этого товарищеского тона и оглянулась вокруг, не то ища выхода из своего затруднительная положения, не то опасаясь, что могли оказаться какие-нибудь свидетели этой не совсем уместной сцены.

— Странно, — опять сорвалось у неё с языка слово, которое, видимо, выручало её во всех затруднительных случаях. — Не со всеми же вы позволяете себе знакомиться таким образом.

— Нет, не со всеми.

— Ах, так, — обидчиво сказала она и отвернулась.

— А только с теми, кто мне особенно интересен, — пояснил он.

— Как же я вам могу быть интересна, когда вы меня совсем не знаете?!

— Во-первых, интерес возникает не только тогда, когда знают, а, во-вторых, я знаю вас, может быть, больше, чем кто-нибудь другой.

Она выразила на своём лице неподдельное изумление.

— То есть, как?

Тогда он рискнул на отчаянную вещь и рассказал ей, как он её видел менее, чем час тому назад.

Для чего было сделано это признание, он и сам не знал, но едва она поняла его, лицо её загорелось таким стыдом, негодованием и даже злобой против него, что он тотчас же раскаялся в своей болтливости.

— Это подло! Это гадко! Это... это бесчестно! — закричала она, вскочив и топая ногой, при каждом новом определении. — Это... это... это...

Но бранных слов не хватило и, топнув ногой ещё более энергично и закрыв лицо руками, она бросилась от него в сторону, надев по пути шляпу задом наперёд.

Если бы не этот маленький беспорядок, который до смешного резко бросился ему в глаза, он, пожалуй, не посмел бы последовать за ней, но пустяк, не идущий к делу, непонятным образом его о бодрил.

Он побежал за ней, стараясь её успокоить, внушить, что все это вышло неумышленно с его стороны, что он ушел оттуда, как только опомнился, а главное, что в её наготе была та-



кая святая чистота, что он любовался ею без тени дурной мысли, как любовался бы прекрасной статуей.

Но на все его уверения, она только отвечала голосом, дрожащим от слез:

— Убирайтесь прочь! Оставьте меня! Это низко! Это подло!

И старалась убежать, но бежала сама не зная куда, только не домой. Не могла же она явиться домой плачущая, с таким лицом!

Но сил у неё становилось все меньше и меньше и, наконец, когда она прибежала к самому краю высокого обрыва, он испугался, что она в своём безумном порыве может броситься с обрыва вниз.

У ней, правда, мелькнула эта мысль и, пожалуй, если бы эта мысль явилась раньше, она могла бы броситься со стыда и назло ему, но теперь на это не хватило решимости.

В полном отчаянии она остановилась, но уже не заплакала, а зарыдала и в изнеможении опустилась на траву.

Тогда он встал перед ней на колени и с настоящей искренностью, нежностью и раскаянием робко сказал:

— Ну, простите меня, простите. Клянусь вам, что это, это только заставило меня полюбить вас. Полюбить в первый раз в моей жизни, самой хорошей, самой чистой любовью.

И сам не знал тогда, сказал ли он это, чтобы только успокоить её, или так оно и было на самом деле.

Спустя месяц, не только он, но и она уже не сомневались, что так оно и было на самом деле. Что тут действовала рука самой судьбы, которая оторвала его от лекций государственного права и привела в роковой для неё час на обрыв, под которым она купалась.

Что тут было явное благоволение судьбы, ясно было уже потому, что и он и она превосходно выдержали последние экзамены и, таким образом, получили полные права гражданства. Она стала давать уроки, а он записался в помприсповы, как она шутливо сокращала в одно три слова: помощник присяжная поверенного.

Померкли алые и золотистые тона и потускнела сиреневая туча.

Над городом рассыпались сумерки и ожили электрические огни.

— Вера, — обратился он к ней, после того, как они прошли молча несколько шагов.

Она удивленно обернулась на это обращение, но не протестовала против него.

— Если вы никуда не спешите... — нерешительно проговорил он и вопросительно на неё взглянул.

— Мне некуда спешить, особенно нынче, — ответила она печально, давая этим понять, что у неё нет никого из близких.

Он знал, что у неё были и отец, и мать. Если они и не умерли, то она умерла для них. Об этом нетрудно было догадаться по её грустному тону.

— Тогда прошу вас, поедemте туда.

Ей не зачем было спрашивать, куда он зовёт её. Она только знакомо ему шевельнула плечами.

— Зачем?

— Я не знаю, зачем, но вот я увидел вас и мне мучительно захотелось поехать с вами туда.

Она подумала и сделала неопределённое, но тоже знакомое ему движение головой.

— Пожалуй.

Он ужасно почему-то обрадовался и засуетился относительно извозчика.

По счастью, скоро попался лихач. Они сели и помчались за город к морю, где познакомились когда-то и полюбили друг друга.

Мелькали огни электрических фонарей, освещённые окна и предпразднично суетливая толпа.

Но скоро все это миновало, и они очутились за городом.

Было как-то особенно приятно мчаться по пустынному шоссе, где лишь два раза мелькнул электрический трамвай, да прогремели возвращавшиеся из города порожняки.

На заколоченных дачах было глухо и тихо, но уже пахло распускающимися листьями и обмокшей от теплых дождей и солнца землёй.

Электрические фонари вдоль пути попада-

лись здесь изредка, зато звезды светили здесь так ярко и дружно, как они никогда не светят над городом.

Он обнял её, пополневшую за эти годы, талию и был взволнован близостью её тела, которое знал когда-то таким чистым и совершенным.

Теперь это тело было осквернено грязными ласками многих, и это вызывало в нем острое тоскливое чувство, близкое к виноватости.

— Зачем вы меня привезли сюда? — обратилась она к своему спутнику, когда они сошли с экипажа и подошли к обрыву.

Здесь было глухо и пусто. Маленькие дачи, где они жили когда-то, были снесены. Вместо них понастроены большие. Деревья сильно разрослись, остались те же прибрежные холмы да море.

Оно было здесь перед ними темное и необъятное, смутно озарённое одними лишь звёздами, которые отражались в нем кое-где бледными полосами. Слышно было, как море шелестит внизу, как бы влача по берегу свой царственный шлейф, и глубоко и властно ды-

шит прямо на них солоноватой свежестью.

Он не сразу собрался ответить на её вопрос, потому что и сам не знал, какая сила его сюда потянула.

— Мне хотелось вернуться к прошлому, — ответил он, чувствуя, что говорит не совсем то.

Она вздохнула и прошептала:

— Прошлое умерло.

— А мне кажется, что мы зарыли его живым! — вырвалось у него горькое признание.

— Мы?

— Нет, нет, — поспешил он ответить на укор, который слышался в её тоне. — Нет, я не хочу обвинять в этом тебя. Я один виноват во всем.

Она промолчала.

— Не думай, что я так счастлив теперь, — продолжал он, чувствуя потребность высказаться, многое объяснить не только ей, но и самому себе. — Мне как будто не на что жаловаться: у меня семья, дети, но... но вспомни, ведь мы любили друг друга. Я любил тебя и это правда, что я любил в первый раз в моей жизни. Я не сумел воспользоваться нашей

любовью, как должен был воспользоваться, как хотел, а ты была слишком горда и стыдлива, чтобы заставить меня сделать тот шаг, который заставила меня сделать другая, которую я никогда так не любил, как тебя.

— Ну, я не думаю, чтобы вы теперь раскаялись в этом.

— Теперь! Теперь! — повторил он слово, которое она произнесла с особенным ударением и горечью. — Именно теперь я раскаиваюсь в этом больше, чем когда бы то ни было. Именно теперь, когда ты... так несчастна... Вера! — он схватил её за руку и старался заглянуть в её лицо, зареянное сумерками. — Вера, неужели это правда?

— Правда, — произнесла она как-то жёстко и мрачно.

Тогда у него вырвался тот вопрос, который колот его с той самой минуты, как он услышал, чем она стала.

— И я, я виноват в этом?

Она резко отняла у него свою руку.

— Зачем ты мучишь меня? Зачем? Тебе хочется снять с себя даже тень, которая падает от меня на твое нынешнее благополучие. Ну,

хорошо, ты ни в чем не виноват. Решительно ни в чем. А теперь довольно. Идём.

Но он остановил её.

— Постой. Умоляю тебя, не уходи. Ты мне бросаешь это отпущение, как подачку. Но я не хочу, я не могу так принять его.

— Чего же тебе ещё надо от меня?

— Справедливости. Одной справедливости. Послушай, Вера. Вспомни, ведь я, несмотря на всю мою любовь к тебе, не тронул тебя.

— Ах, ты вот о чем!

Она резко и как-то грубо рассмеялась, и этот грубый смех, как ему показалось, также выдавал её ужасное настоящее.

— Ты вот о чем. Ну, да, конечно. Ты был слишком труслив даже для этого. Ты берег не меня, а себя.

Он хотел протестовать, но она как-то внезапно вспыхнула вся и не дала ему открыть рот.

— Правда, я была стыдлива и горда, но я для тебя, для одного тебя цвела, как цветок, и горела, как пламя. И если бы ты, действительно, любил меня, ты должен был бы поступить, как надо. И может быть, может быть...



даже наверно... даже наверно, тогда я не стала бы такой. Но трус не может любить, как мужчина. Труса могло хватить на любовную игру, но на любовь настоящую не хватило. А заставить тебя сделать этот шаг, который ты считаешь таким важным, может быть роковым, — нет, уж это я предоставляю другим.

Он опять хотел ей возразить, но она не желала его слушать.

— И если ты жалеешь о том, что этого не случилось... может быть, жалеешь... Я даже теперь... даже теперь, я... не жалею, нет, нисколько не жалею. Да, нисколько, хотя стала теперь тем, чем стала. Не жалею нисколько, потому что тогда же поняла, что ты не человек, а тряпка. И, как только поняла, швырнула то, что ты не решился взять из трусости, то, что принадлежало по праву тебе, тебе одному, я швырнула первому встречному, а потом десяткам других встречных. Да, да, вот... десяткам! — выкрикивала она с каким-то мстительным злорадством. — Я сделала это из злости на тебя и с отчаяния, что моя первая любовь принадлежала трусу.

Он был задавлен, уничтожен этим пото-

ком унижительных для него слов, но где-то глубоко затаилось чувство, похожее на облегчение.

Пусть у него нет и не было настоящего счастья, зато есть покой. Правда, несколько затхлый и совершенно лишённый поэзии, но он чувствовал себя в нем, как в своём теплом халате. А с такой особой, как эта, вряд ли он мог бы жить спокойно.

— Ты несправедлива ко мне, — растерянно пробормотал он. Но уже не настаивал, чтобы она оказала ему ту справедливость, которой он жаждал раньше. Очевидно, время и ужасная жизнь ожесточили её, и ему нечего было надеяться на её беспристрастие.

— Ну, и хорошо. И пусть несправедлива, — резко ответила она. — Довольно с меня.

И нервно от него отвернулась и пошла к экипажу быстрой, порывистой походкой.

Он бросился вслед.

— Вера! Вера! — бормотал он, догнав её и идя с ней рядом. — Я не думал, что наша встреча примет такой... такой оборот. Что ты отнесёшься ко мне так сурово и жёстко.

— Да, да, я знаю. Вы любитель чувстви-

тельных сцен, — ответила она все с той же оскорбительной холодностью. — Но я-то не такая. Все перегорело, все испепелилось во мне, потому что я не из тех, что тлеют всю жизнь, как гнилушки.

Она не видела, как он покраснел от стыда и раздражения на этот новый оскорбительный удар. Но вместо того, чтобы ответить на него также резкостью, которая просилась на язык, он стиснул зубы и — вздохнул.

В его положении следовало быть великодушным по отношению к ней.

Пройдя молча несколько шагов, он опять сделал попытку заговорить:

— Вера, послушай.

Экипаж уж был близко. Он темнел во мраке с лошадью и кучером большим фантастическим пятном, и казалось, что лошадь, и кучер, и экипаж составляют одно невиданное существо.

— Послушай.

Она остановилась и, не глядя на него, ждала.

Он взял её за руку и со всею мягкостью, на которую был способен в эту минуту, сказал:

— Вера, я бы не хотел расстаться с тобой таким образом. Несмотря ни на что... — многозначительно и с ударением произнёс он, — я бы хотел сохранить, хоть слабый, но живой отблеск в своей душе от прошлого.

— Ну? — торопила она его, — чувствуя, что за этим вступительным словом кроется что-то другое.

— Я бы хотел, чтобы и у тебя не оставалось против меня никакой злости.

— Ну, ну... — нетерпеливо кивала она головой.

— ...Чтобы в трудные для тебя минуты жизни, ты вспомнила меня, как друга... как человека, которого все же когда-то любила.

— Ну, ну, ну...

— Ты знаешь, вероятно, что я много зарабатываю, — дошёл он, наконец, до сути. — Если тебе нужны деньги, или понадобятся впредь...

Она резко прервала его.

— Благодарю. Я в деньгах не нуждаюсь. Ведь, вам известно, какова моя профессия. Пока ещё я достаточно молода, чтобы нуждаться. А когда состарюсь, тогда... тогда сумею то-

же обойтись без подаяния.

И засмеялась зло и горько.

Он был опять оскорблён, особенно этим смехом. Что мог этот смех выражать? Относился ли он к нему? Кажется, смеха-то, во всяком случае, он не заслужил ничем.

Однако, в трогательную беседу он уже более вступить с ней не решался.

Почти весь обратный путь ехали молча и, когда он довёз её до гостиницы, они обменялись всего несколькими словами.

— Вера, — сказал он, подавляя свою обидчивость, — увидимся ли мы когда-нибудь?

— Зачем это? Разве не все сказано?

И вошла своей порывистой нервной походкой на площадку подъезда, а затем, не оглянувшись, скрылась за дверью.

Он огорчённо вздохнул и поспешил домой.

У двери своего дома он увидел тележку с цветами, заказанными им на нынешний день.

Минута колебания.

Звягин посмотрел наверх, на кое-где освещённые окна своей квартиры: нет, оттуда ничего не могли заметить.

— Вот что, — торопливо сказал он цветочнику. — Эти цветы ты доставь с моей карточкой по такому адресу,

Поспешно достал свою визитную карточку, написал на ней адрес и имя Веры и вручил с чаевыми посланному.

И хотя сам Звягин в этот торжественный вечер оставил свой стол без цветов, солгав жене, что все цветы в магазине разобраны, но сознание своего великодушия возместило этот праздничный пробел, и Звягин чувствовал себя и на этот раз недурно в недрах своего уютного семейства.

Ему и в голову не приходило, что Вера, получив эти цветы, заперлась в своих пошлых меблированных стенах и рыдала перед этими цветами всю ночь.

# Борьба с чемоданом

**П**ароход вышел из Нью-Йорка на закате. Низко над водою безмолвно тянули чайки с Запада на Восток.

В самом порту, похожем на огромный котёл кипящий и вздувающийся, как черными уродливыми пузырями, судами всех стран света, становилось как-то подозрительно тихо. Подобно гигантским клеткам, возвышались плоские громады Нью-Йорка, и в стеклах окон, обращённых на запад, пылало отражение вечерней зари.

Там, на закате, заря бушевала диким пламенем, и клубившиеся тучи дышали и двигались в горячечном бреду. На их огненном фоне мрачно чернели высокие каменные трубы и корпуса фабрик Ист-Айланда, точно вытянутые жала голодных драконов. По отяжелевшей воде проносился тревожный ветер, и, казалось, от него вода местами вспыхивала и блестела, как медь.

Едва последний намёк на Америку исчез за нами, волны приняли корабль, как жертву и стали исподволь раскачивать его, как будто

только дожидаясь ночи, чтобы устроить себе настоящую потеху.

Ночь и ветер выпили все пламя зари, как огненное вино, и до безумия опьянели. Они разметались во всю грозную ширь и хмельно заплясали и завывали, поднимая волны и заставляя их выть и плясать вместе с собою.

Три дня и три ночи трепало нас в Атлантическом океане.

Невозможно было не только варить горячую пищу, но и печь хлеба. Питались всухомятку консервами и закусками. И в питании нуждались немногие: огромное большинство не только обходилось без всякого питания, но и внутренние запасы, полученные раньше, утрачивались в приступах морской болезни.

Укачало не только пассажиров, но и прислугу. Замолкли безобразные крики прожорливых итальянцев — Manga! — терзавшие меня с самого начала пути.

Опустели салон и палубы. В каютах и в трюме парохода, как во чреве кита, томились несчастные, колотясь от качки о железные прутья коек. Иные, окончательно обессиленные, просили их привязывать к койкам. Из-



редка наружу выползали ещё живые фигуры с зелёными лицами и влажными бессмысленными глазами, чтобы вздохнуть на свежем воздухе после удушливого трюмного смрада.

Они из последних сил держались за поручни, но вид поднимавшегося и опускавшегося горизонта действовал на них убийственно, и бедняги уползали вниз снова.

Упал в трюм и сильно расшибся буфетчик. Оторвалась корова, и её бросало от борта к борту. Пробовали удержать и привязать — невозможно: корове переломало в конце концов ноги.

С палубы снесло двенадцать бочек с вином, несмотря на то, что они были крепко зашайтованы: все скрепы разорвало к чёрту.

В кочегарке ударами воды, забравшейся внутрь, выбило чугунную плиту и переломило кочегару-испанцу ноги.

Сначала нас несколько забавляли опыты, которые проделывала с нами буря, сталкивая друг с другом на скользких кожаных диванах вдоль стола, вырывая из-под носа тарелки, стаканы, бутылки с вином и коробки с консервами. Все это вызывало шутки: не беда по-

трепаться так один день, ну — два...

Первым, однако, сдался доктор. Его то и дело требовали экстренно к больным.

— Барыня в шестом номере того... совсем... из себя выходят, — старался наш лакей Пётр как можно деликатнее определить морскую болезнь пассажирки, которой казалось, что она умирает.

Доктор бранился, но шел.

Шутки как-то сами собой прекратились. Если рассказывали истории, то совсем не весёлые: о крушениях, авариях и тому подобных передрягах, в которых морякам приходится бывать нередко.

На четвертые сутки, когда мы уже миновали Гольфстрим, пошёл снег.

При свирепом ветре на вахте невозможно было стоять. Снег таял, но ветер леденил и гудел в снастях, как в струнах огромного плавающего инструмента.

Огни на мачтах чертили в сумраке невероятные узоры. Было что-то донельзя мрачное и таинственное в этих непрерывных размахах и качаниях парохода под безнадёжным низким небом.

Он то совсем ложился на бок, как усталый верблюд, то через силу поднимался, гудя и скрипя, и стена, взбирался на высокую волну и вдруг стремительно свергался оттуда вниз, зарываясь носом в воду так, что корма поднималась и винт вертелся в воздухе. Крен доходил до 44 градусов.

— Нет, это что! — прервал старшего механика, только что рассказывавшего страшную историю, капитан, не терпевший, чтобы в его присутствии рассказывали что-нибудь такое, чего с ним не случилось.

— Вот у нас на «Георгии» была история, так история...

— Расскажите, пожалуйста...

— Да что рассказывать. Разве в рассказе это передашь?.. Зерно передвинулось во время крена. Пароход лёг, как камбала, на бок, ни тпру, ни ну... Прямо, молись Богу и умирай.

Дверь с шумом отворилась. Он развёл руками и хотел продолжать, но вестовой, едва удерживаясь на ногах, доложил:

— Второй помощник просит капитана на мостик.

Опять, значит, случилось что-нибудь важное. Капитан плюнул с досадой и, так и не до сказав своей истории, вышел.

— Черт знает, чаю не дадут напиться!

Но и нам не суждено было напиться чаю. Пётр, нёсший по коридору кипятков, не удержался во время неожиданного крена и обварил себе кипятком руки.

Я решил подняться к себе в каюту.

Кабюта моя помещалась на спардеке рядом с капитанской. Крен шел назад, и я в один миг очутился наверху, скользя руками по обмокшим поручням.

Электрические лампочки освещали спардек, который принимал уже наклонное положение налево.

Было мне на руку. Я улучил момент и схватился за боковые поручни вдоль спардека.

Он весь был, как стеклом, покрыт влагой, которая светилась местами от электрических лампочек, подобно зеркалу отражая их мертвенный свет.

У самой стенки чернела какая-то жалкая скорчившаяся фигура.

Я поравнялся с ней.

Итальянец, держась обеими руками за поручни, с плачем молился о спасении: «Santa Madonna! O, santa Madonna! Noi perderemo!» — вне себя бормотал он и, увидев меня, завопил ещё сильнее:

— Signor! Noi perderemo!

Я хотел успокоить его, но в эту минуту палуба вырвалась из-под моих ног, и я едва не полетел к борту.

Сделав отчаянный прыжок, я успел, однако, ухватиться за поручни и, быстро перебирая руками, поспешил вперёд к своей каюте.

Теперь пароход кренился правым бортом, и я почти висел на руках над волною, которая блестела, подобно горе с снежной вершиной.

В следующее мгновение я уже был около своей каюты. Поручни кончились. Надо было опять сторожить счастливый миг и ухватиться за ручку каютной дверцы.

Удалось и это, но волна захлестнула мои ноги. С ловкостью клоуна я, наконец, попал в мою каюту и, захлопнув дверь, вздохнул свободнее.

Здесь у меня было светло и уютно после слякоти, ветра, сумрака и волн, падавших на

спардек.

Каюта была двойная по величине. На стенах висели портреты моих близких, и это внушало некоторую бодрость и успокоение.

Однако, дребезжащий звон графина и стакана в скрепках, а также танец моих туфель по каюте и здесь напоминали о буйстве волн. Я словил туфли, засунул их в щель между чемоданом и диваном, где чемодан был привязан, — оттуда они уже не могли вырваться, — и, совершенно изморённый трехдневной бессонницей и плохим питанием улегся на кровать, с трудом стягивая с себя намокшую обувь и засовывая её туда же, где были туфли.

Пароход продолжал свою пьяную скачку по волнам. Пол моей каюты по временам превращался в стену, а стена в пол.

А то я вдруг становился почти вверх ногами или, наоборот, вместе с кроватью поднимался на ноги. Однако же, я мужественно держался руками и ногами за прутья кровати и во что бы то ни стало решил уснуть несмотря ни на какие превратности.

За иллюминатором раздался стук от падения тела, и вслед за ним — стон.

Кто-то, очевидно, треснул головой о палубу. Вероятно, вестовой матрос, а, может быть, тот несчастный итальянец.

Засуетились... очевидно, слышали... Тем лучше, я могу лежать спокойно, если это называется лежать, да ещё спокойно.

Глаза закрываются сами собой и неестественная дремота охватывает истомлённое тело.

Я даже начинаю видеть что-то вроде сна, хотя смутно в то же время сознаю, что это наяву, и крепко держусь по-прежнему руками и ногами.

Мне представляется, что верёвками прикрутили меня, как Мазепу, к спине коня и конь то мчит меня вперёд, то становится на дыбы, то бьёт задними копытами, стараясь сбросить свою ношу.

Не тут-то было.

Такое положение начинает даже забавлять меня.

Долго ли оно продлится, я не знаю.

Вдруг страшный треск заставляет меня вскочить с открытыми глазами на постели. Я сразу прихожу в себя. Уж не расколосся ли

пополам корабль?

Сорвался мой чемодан. Он вырвался из верёвок и грохнулся на пол и теперь несётся к двери.

Я чувствую, как меня охватывает досада на него за то, что он не дал мне выспаться, на что я, по-видимому, на этот раз был вполне способен.

Но ещё не все потеряно. Достаточно водворить его на место, и все будет отлично.

Я покидаю кровать, и вот тут-то начинается жестокая борьба с чемоданом.

Я вижу, как он, докатившись до двери, грохнулся в неё изо всех сил, точно желал вырваться наружу и ринуться в волны.

Держась за стенки, крадусь к нему, но он уже предупреждает меня на полпути и летит навстречу.

Тем лучше.

Стоя на широко расставленных ногах, весь склонившись вперёд, чтобы сохранить равновесие, я победоносно протягиваю к нему руки: но он летит уже в сторону и обрушивается в одно мгновение на умывальник.

Я стучаюсь рядом об стену.



Хватаюсь рукой за вешалку и в то же время вижу, как чемодан от умывальника летит к дивану, на котором столько дней провёл пленником.

Я стремительно низвергаюсь за ним. Тут-то я опять водружу его на место.

Но мой прыжок поневоле оказался промахом: вместо дивана я очутился на постели и пребольно стукнулся о железный прут коленкой, а руками уперся прямо в стену.

Не успеваю ещё опомниться, как чемодан, точно издеваясь надо мною, летит снова к двери и с размаха опять ударяет в неё с силой и грохотом пушечного ядра.

Моя досада переходит уже прямо в злобу. Я бросаюсь к нему, но он подкатывается мне под ноги, и на этот раз я уже прямо лечу головой в дверь и стучаюсь в неё не хуже чемодана

Ого! Это, однако, похоже на издевательство.

Чемодан явно превращается не только в моего живого, но и злонамеренного, и злорадного врага.

Он прижался к кровати и оттуда рассчиты-

вал нанести мне новый удар или обмануть меня новым манёвром.

Я вижу, как он сверкает на меня парюю острых глаз: металлическими пружками. Я не даю ему собраться с силами и прямо обрушиваюсь на него всем моим телом.

Но он дьявольски увертлив. Не успеваю ещё я, как следует, ухватить его, как он выскользывает из-под меня и мчится в бок.

Но главное в борьбе — не дать врагу опомниться. Я на четвереньках лечу к нему и прижимаю его к стенке.

Он в моих руках.

Но сам я, помимо какого-то ни было желания с моей стороны, как рак, пчусь назад и, не удерживаясь, падаю навзничь не выпуская, однако, чемодана из рук.

Чемодан на меня...

Я на чемодан...

Чемодан через меня...

Я через чемодан.

Мы начинаем кататься по каюте, от кровати к двери, от двери к умывальнику. От умывальника к дивану.

То я, то он стукаемся об стену, о ножки ди-

вана, о края умывальника...

Это последнее особенно неприятно, но в горячах я почти не ощущаю боли, и только рычу от бешенства, когда он прижимает меня к стене.

Только бы мне удержать его около дивана на одну минуту. О, только бы на одну минуту!

За нами прыгают туфли и мокрые ботинки, врываясь то с одной, то с другой стороны, точно желая нас разнять. Они, временами, даже ударяют то меня, то его, вероятно, чтобы образумить, но это не помогает.

Мы беспощадно топчем этих карликов.

Тогда они в испуге забиваются глубоко под койку.

Вот я уже около дивана, верхом на своём враге. Что-то капает у меня из носа на его ненавистную черную кожу. Кровь. Пускай кровь. Все же, как он ни увертлив и ни силен — ему не совладать со мною.

Мы опять несёмся прочь от дивана... Опять стукаемся в стену. И опять.

Чемодан на меня.

Я на чемодан...

Через чемодан...

И опять на меня чемодан.

Но я употребляю испытанный приём и снова сажусь на него верхом.

Освободив одну руку, я приготавливаюсь на диване захватить верёвки и, только окончательно отдышавшись решаю нанести ему роковой удар.

Очутись я даже вверх ногами, я все равно не уступлю.

И, улучив удобный момент, я быстро наклоняюсь к врагу и ловким броском опрокидываю его на диван... на обе лопатки.

Моё дыхание все ещё тяжело и прерывисто, а он притворяется совсем неживым.

Тогда я накидываю на него аркан, продеваю в него руку и прикручиваю к дивану, но на этот раз так, что он уж никогда не вырвется из этих пут.

И только после этого, окончательно успокоившийся, я перебираюсь на свою кровать и оттуда смотрю на поверженного врага, громко и победоносно смеюсь.

— Будешь знать негодяй, как бороться со мною, — грозно говорю я, но в то же время чувствую, что и мне недёшево досталась эта

победа.

Кровь капает на белую простыню, в голове чувствуется боль, руки и ноги в ссадинах.

Не беда... Это не опасно... Зато я могу теперь отдыхать спокойно.

И, точно разделяя своё торжество, удивляясь моей силе и ловкости, из-под кровати вылезают туфли и башмаки, с перепугу забившиеся туда во время нашей схватки.

Они сначала робко поглядывают на меня, а затем, как маленькие обезьянки, или дети, подражающие взрослым, начинают тоже проделывать что-то вроде нашей борьбы.

Я терплю это забавное зрелище, пока оно мне не надоедает, а затем, не вставая с постели, ловлю их за уши по одному и водворяю на прежнее место.

Баста. Довольно позабавились.

# Примечания

# 1

Времена меняются (лат.)

[^^^]

Акушерка

[^^^]